

Варужан ВОСКАНЯН

КНИГА ШЕПОТОВ

Перевод с румынского: Иван Пилкин

СЕМЬ

– Не трогайте их женщин, – сказал Армен Гаро. – И детей тоже.

Один за другим в редакции газеты *Джагадамард* в Константинополе собрались все члены Особой миссии. Их отбирали с осторожностью. Потом в группе остались только те, кто самостоятельно или в засадах уже участвовал в подобных операциях. «Рассчитываю только на таких, которым уже приходилось убивать», решил Армен Гаро. Каждый получил фотографии тех, кого предстояло разыскать в своих убежищах. Убежища могли находиться где угодно: от Берлина или Рима и до степей в Центральной Азии. При широких плечах и толстой шее, у министра внутренних дел Талаат-паши было мощное тело, а голова с квадратной бородой и челюстями, готовыми разорвать на куски, была скорее продолжением сильной груди. В нижней части фотографии кулаки, вдвое большие, чем у обычного человека, выдавали его агрессивность. Рядом с пашой хрупкая и изящная жена в белом платье и в кружевной шляпе по европейской моде, столь выделявшейся на фоне его фески. Далее Энвер, приземистый, приподнятый на каблуках сапог. Надменный взгляд и тонкие пальцы, ухватившие кончики усов, гордость за щедро ниспадавшие на плечи и на узкую грудь золотые нити командира армии, которые скрывали его скромное происхождение от матери, занимавшейся, чтобы вырастить сына, одной из самых презираемых профессий в Империи – обмыванием мертвецов. На одной из фотографий его тонкая, властная и в то же время робкая рука сковывала изящную талию его жены Неджие, принцессы императорского гарема, дочери султана. А на другой фотографии Энвер, сын мойщицы мертвецов и зять султана, силился казаться надменным, замерев у портретов своих идолов – Наполеона и Фридриха Великого. Джемаль-паша был в этом воинственном триумвирате чем-то вроде Лепида. Если бы он не носил эполетов министра Морского Флота, то из-за своей заурядной внешности на него могли бы не обратить никакого внимания, хотя он всеми силами старался не отставать от суровости Талаата и от надменности Энвера. Затем доктор Назим и Бехаэддин Шакир, идейные

вожди Партии «Единение и Прогресс», выступившие с предложением выпустить из тюрем преступников, которые, входя в состав вооруженных формирований, должны были надзирать за колоннами армян и уничтожать их у развилок дорог. Нам не известно, насколько красивыми были их жены, они были полнотелыми, у них были черные волосы, но остальные черты разобрать трудно, потому что на единственных фотографиях, сохранившихся со времен их молодости, их лица покрыты вуалью, а они плачут у изголовья гробов, в которых покоились их мужья после того, как группа отмщения исполнила свою миссию. И остальные, префект Требизонда Джемаль Азми, Бехбуд-хан Джаваншир... Армен Гаро поднял фотографии Талаата и Энвера вместе с их женами. По очереди посмотрел на каждого: Согомон Тейлирян, Арам Еркянян, Аршавир Ширакян, Грач Папазян, Мисак Торлакян.

– Не убивайте женщин, – повторил он. – И детей их тоже.

Совершенно неважна для нас дата этой встречи. *Книга шепотов* – не учебник истории, а книга состояний сознания. Поэтому она начинает просвечиваться, а ее страницы прозрачны. Конечно, в *Книге шепотов* есть много точных дат, указывающих даже день, час и место. Перо бежит слишком быстро, но иногда, дожидаясь меня и читателя, оно решает помедлить, и тогда приводит больше деталей, чем, может, необходимо. Каждое лишнее слово объясняет, и именно поэтому убавляет.

Итак, даже если мы и выбросим из нее всякое упоминание о годах и всякий перечень дней, *Книга шепотов* не лишится ни одного из своих смыслов. Подобное всегда происходило с людьми, где бы они ни находились. На самом деле, *Книга шепотов* в своей основе остается той же во все времена, как хорал Иоганна Себастьяна Баха, как узкие ворота, через которые люди проходят, склоняясь, или прижимаясь, друг к другу.

– Первым делом, они нам убили поэта, – произнес Шаварш Мисакян.

Редакция газеты чудом избежала катастрофы. Кстати сказать, после резни, начатой 24 апреля 1915 года, когда сотни интеллектуалов были арестованы, а большая их часть была убита, все живущие в столице армяне посчитали отмену приказа о депортации чудом. После того как их выгнали из своих домов и ограбили, им предстояло разделить судьбу остальных армянских общин, хотя их участь была намного тяжелей, так как, в отличие от армян из Вана, Сиваса или Аданы, они были вынуждены пересечь под конвоем все нагорье Анатолии и достичь сирийских пустынь, где, если их не уничтожали группы вооруженных преступников или кочевые банды, они должны были умереть от голода и холода в растянутых наскоро палатках, в пустыне, где дневная жара и ночной мороз делили своих жертв поровну.

Центральный печатный орган Армянской Революционной Федерации, запрещенный в 1915 году, и носивший до того момента имя *Азадамард*, появился вновь в 1918 году под новым названием, напоминаям прежнее – *Джагадамард*. Шаварш Мисакян был в то время его главным редактором и вернулся, чтобы возобновить свою работу. Он сидел в углу, не принимая участия в Специальной миссии, но обладая авторитетом, необходимым Армену Гаро и Шаану Натали. Авторитет, который ему придавала не столько осанка, сколько, при опущенном левом плече и искривленной голове, отсутствие всякого высокомерия. Его увечье подчиняло себе остальных, ибо напоминало о выдержке, с которой он прошел через пытки в военной тюрьме, куда его заключили в марте 1916 и где он, спустя несколько месяцев, вырвавшись из рук истязателей, сбросился во внутренний двор с третьего этажа. Получив тяжелые раны, он выжил, и его выпустили 27 ноября 1918 года, в тот самый день, когда столицу заняли союзные войска, а его собственное тело с множеством переломанных костей взвалило на себя всю несправедливость мира, напоминая тем, кто его окружал, что он избавился от страха смерти.

Их враги знали, что, для того, чтобы уничтожить их как народ, следует непременно убить их Поэта. Для народа, который угнетают и запугивают, Поэт становится вождем. Даниела Варужана и других интеллектуалов арестовали 24 апреля 1915 года. Его привязали к дереву и забили камнями, оставив на растерзание ночных зверей и духов. Согласно некоторым легендам, он жив, кое-кто рассказывал, что при пожаре в Смирне мельком видел его образ в горящих зеркалах. Хотя известно место, где он, привязанный к дереву, то есть, к живому кресту, принял свои мучения, никто не знает, где находится его могила. И это единственное, что могло бы подтвердить легенды о воскресении Даниела Варужана. Располагая доказательствами его смерти и даже именем его палача, Огуз-бея, головы из Чангуири, но не ничего не зная о его могиле, мы можем поддаться искушению и принять мысль о его воскресении.

Другие, арестованные 24 апреля, среди которых были, например, два члена Парламента, Крикор Зораб, депутат от Константинополя, и Варткес Серингулян от Эрзерума, дошли до сирийских пустынь, до Урфы, а потом и до Алеппо. Рёсслер, немецкий консул в Алеппо, рассказывает о них в письме к немецкому послу Вангенхайму: «Зораб и Варткес эфенди находятся в Алеппо и входят в состав колонны, направляющейся в Диарбекир. Для них это верная смерть: Зораб – сердечник, жена Варткеса только что родила». О преступлениях, совершенных во времена детства моих дедов, я многое узнал не столько из свидетельств выживших, сколько главным образом из хвастовства убийц. Насколько же разнятся робость тех, кто умирает, и

спесь тех, кто убивает... Так, мы узнаем, что их зарезали штыками, мозги Варткеса вышибли оружейными выстрелами, а голову Зораба размозжили о камни. Затем их тела были изрублены и брошены. Если бы кто-нибудь взял на себя труд предать земле множество мертвецов тех дней, то по остаткам изрезанных тел им не удалось бы их опознать.

Но мир движется вперед. Место, где был убит Даниел Варужан, называется Туна. Перед тем, как его забрали, поэт сказал оставшимся: «Позаботьтесь о моем сыне, который только что родился. Пусть его окрестят Варужаном».

– Мы отомстим, и за него, и за остальных, сказал Армен Гаро, пристально взглянув на Шаварша Мисакяна. Именно поэтому не трогайте их женщин и их детей. Мы не душегубы и не женоубийцы.

Они сидели в первом кругу.

– Армен прав, произнес Шаварш Мисакян. Следуйте примеру генерала Дро.

В то время Дро еще не был генералом. В феврале 1905 года, когда в Баку началась бойня, которая продолжалась три дня, ему было только двадцать один. Несколько тысяч армян было убито татарскими бандами. А князь Накашидзе, царский губернатор, несмотря на предупреждения, а затем и отчаянные крики армянского населения, не сделал ничего для того, чтобы его защитить, более того, он снабжал налетчиков оружием. Центральный Комитет Армянской Революционной Федерации сообщил тогда генерал-губернатору Накашидзе, что партия приговорила его к смерти. Исполнить приговор поручили молодому Драстамату Канаяну, которого мы уже узнали под именем генерала Дро.

В назначенный день Дро поджидал губернаторский кортеж на узкой улочке, где гвардия казаков-кавалеристов не могла окружить княжескую коляску. Бомба находилась в мешочке и была покрыта гроздьями винограда. Однако увидев, что князь едет вместе с женой, Дро не решился и, в конечном итоге, отказался, удовольствовавшись лишь взглядом со стороны. Он дождался наступления ночи. На обратном пути в коляске находился один князь. Когда конвой оказался рядом, Дро метнул мешок и понесся прочь. Взрыв был чудовищным. Тогда вместе с Накашидзе в клочья разорвало множество всадников правительственной гвардии. Воспользовавшись паникой, Дро удалось исчезнуть, а несколько соратников той же ночью помогли ему пересечь турецкую границу. За ее пределами он оставался девять лет, до начала войны.

– Но тогда Дро и представить себе не мог, что произойдет, сказал Аршавир Ширакян.

Никто не мог себе представить. Лидеры армян помогли Младотуркам прийти к власти, считая, что те положат конец зверствам кровавого султана, Абдул Хамида. Во время контрреволюции Варткес ефенди, будущий депутат от Эрзерума, прятал в своем доме Халиль Бея, который позже отдаст приказ об его убийстве. И, по горькой иронии судьбы, если сам Дро считал, что женщина не должна отвечать за грехи своего мужа, то тридцать лет спустя, в Омске, Сталин отдаст приказ казнить жену Дро вместе с одним из их сыновей за дела ее мужа.

– В Трeбизонде, сказал Мисак Торлакян, несколько сот женщин вместе со своими детьми и стариками, которые не могли ходить, были посажены на плоты и вынесены в открытое море. При всем их несчастье, женщины обрадовались, когда им сказали, что часть пути они проделают по воде, будучи тем самым избавлены от лишних мучений. Однако на другой день плоты прибились к берегу пустые. Женщин утопили в море. То же самое было в Унье, Орду, Триполи, Гиресуне и в Ризе. Ни одна женщина из моей деревни Гюшана не добралась в колоннах до Мескене, Ракки, Рас-эль-Айна или Дейр-эз-Зора, из чего следует, что все они погибли в пути от голода, пули или ножа.

– В вилайете Харпут, сказал Согомон Тейлирян, в июне месяце были убиты первые лица, потом из городов и селений согнали мужчин. Колонны состояли из одних женщин, стариков и детей. В Арабкире женщин посадили на лодки, а затем утопили. Армянские дети из немецкого сиротского дома были утоплены в близлежащем озере. Женщины из Месны, направившиеся в Урфу, были убиты в пути, а их тела были сброшены в реку. На пути между Сивасом и Харпутом тела женщин, изувеченных и изрубленных на восточном берегу Евфрата, месяцами лежали у обочин дорог или в оврагах. Их было слишком много, чтобы похоронить всех. Их скелеты все еще были видны в середине 1916 года. Из почти двухсот тысяч душ, шедших в составе колонн, до Рас-эль-Айна и Дейр-эз-Зора дошла лишь десятая часть.

– Первые женщины, достигшие Мескене, Ракки и Дейр-эз-Зора, сказал Арам Екранян, были трупы, плившие по Евфрату. Весь июнь 1915 года, Евфрат был покрыт вздувшимися от воды трупами, сбившимися в кучу головами, руками и ногами. Вода в реке была красноватого цвета, казалось, что смерть родилась именно тогда.

Круг тех, кто рассказывал об увиденном, стал шире.

– Трупы не перестают плыть по Евфрату, говорил Рёсслер, немецкий консул в Алеппо. Все трупы связаны одинаковым образом, пара к паре и спина к спине. Это свидетельствует о том, что речь идет не о случайном убийстве, а о спланированном

властями уничтожении. Трупы стекают в долину, и их становится все больше. В основном женщин и детей.

– Более шестисот армян, говорил Гольштейн, немецкий консул в Мосуле, в основном женщин и детей, изгнанных из Диарбекира, были убиты во время транспортировки по реке Тигр. Вчера в Мосул прибыли пустые плоты. Уже несколько дней подряд по реке плывут трупы и человеческие конечности. Остальные колонны в пути и вероятно их постигнет та же судьба.

– Начиная с мая месяца, говорил Ги, бывший французский консул, через Алеппо проходят многотысячные колонны. После двух- или трехдневной остановки в специально устроенных для них местах, эти несчастные, большей частью женщины и дети, получают приказ идти в направлении Идлиба, Мыны, Ракки, Дейр-эз-Зора, Рас-эль-Айна, в пустыни Междуречья, в места, которые, по всеобщему убеждению, станут для них могилой.

– Тысячи вдов, армянки из вилайета Ван, говорил Джексон, американский консул в Алеппо, рядом с которыми не было ни одного взрослого мужчины, подошли к Алеппо в совершенно мерзостном состоянии и наполовину нагие. Все это, как и остальные десять-двадцать прошедших групп – колонны, включающие от пятисот до трех тысяч человек, несущих с собою детей, которые находятся в неопределимо жалком состоянии.

И снова Рёсслер:

– В отношении армян из Харпута мне доложили, что в некоей деревне, расположенной к югу от города, мужчин отделили от женщин. Мужчин зарезали и бросили лежать по одну и другую стороны дороги, по которой должны были пройти женщины.

– Можно даже допустить, говорил Арам Андонян, собравший свидетельства выживших, что тех нескольких сотен детей из приюта в Дейр-эз-Зоре никогда и не существовало.

Лишь по завершении и в конце пути, власти сочли, что нашли решение проблемы, которая казалась им до тех пор неразрешимой: как убивать, не оставляя трупов убитых. Не столько потому, что это каким-то образом заставило их почувствовать свою вину, сколько оттого, что сотни тысяч изрубленных на куски трупов с почерневшей на костях кожей, плавающая по воде или покоящаяся на дне пропасти, помимо того, что это зрелище вызывало подавленность и готовило идущие следом колонны к смерти, все-таки осложняли движение на грунтовых и железных дорогах, желтели и пропитывали воздух смертным смрадом, вызывали протесты арабов, которые больше не могли использовать для питья речную воду, и становились источниками эпидемий.

С целью устранения всех этих недостатков убийство детей в Дейр-эз-Зоре должно было быть совершенным преступлением.

Сирот, собранных в Мескене и других селениях, где были устроены лагеря беженцев, погнали через пустыню к Дейр-эз-Зору. Представьте себе колонну из сотен обезображенных детей, покрытых лохмотьями и босиком заплетающихся по зною или холоду пустыни. Их плечи были покрыты кровоточащими язвами, в которых копошились черви, а сзади плетьюми и палками их подгоняли всадники. Мертвых или находившихся в предсмертной агонии закидывали в повозки, которые сопровождали колонну. Место, куда им удалось дойти, называется Абухахар. Лишь триста детей могли еще держаться на ногах, остальных, которых было намного больше, везли на повозках. У подножия гор на краю пустыни солдаты остановили колонну и выгрузили тела в поле. Солдаты окружили место, дожидаясь сумерек. После захода солнца прилетели птицы пустыни. Привлеченные запахом крови, затем полетом друг друга, а еще позже оглушительным карканьем и хрустом мяса, сдираемого с костей, орлы и вороны пустыни накинулись на тела, которые, еще даже будучи живыми, не имели сил сопротивляться. Птицы в первую очередь выклевывали глаза, щеки и губы, которые были тем обольстительнее, чем меньше оставалось тел. Два дня кряду птицы стаями покрывали иссохшее поле у подножия гор, а дети становились добычей черных и закаленных в сталь клювов и когтей. Об этом с ужасом рассказывали кочевники-арабы. А командовавший солдатами капрал Рахмиддин был повышен, нежданно быстро поднявшись до чина командующего жандармерией в Ракке.

Остальных сирот, которые, больные и голодные, лежали в приюте в Дейр-эз-Зоре, в один морозный декабрьский день погрузили в повозки. Умиравших сбросили в Евфрат; бурлящие в то время года потоки реки быстро поглотили высохшие тела. После двенадцатичасового перехода по пустыне, без всякой еды или воды, командующий конвоем, о котором известно, что его звали Абдуллах, хотя ему нравилось, когда его называли Абдуллах-паша, изобрел три разных способа уничтожения детей. Однако, почувствовав в глазах солдат некоторую нерешительность, он схватил двухлетнего мальчика и показал его остальным: «Даже этого младенца, сказал он им, как и всех остальных детей его возраста, следует безжалостно убить. Придет день, когда он восстанет, начнет искать тех, кто убил его родителей и захочет отомстить. Это сукин сын, который однажды станет искать нашей смерти!» И, повертев им несколько раз в воздухе, с яростью ударил о камни, разmozжив до того, как тот успел вскрикнуть.

Часть повозок они установили рядом друг с другом, битком набив их возможно большим количеством детей, а в середину поставили повозку, наполненную взрывчаткой, которая, рванув, разорвала всех, превратив их попросту в сажу. Других, кто был не в силах идти, они уложили в поле, забросали их тела сухой, вымоченной в нефти травой, и подожгли. А тех, которые не поместились в повозки, они согнали к пещерам, заложили входы дровами и травой и подожгли, оставив посиневшие и обугленные тела задохнувшихся детей в глубине пещер.

Но даже самое совершенное преступление не может быть абсолютно безупречным. Девочка по имени Анна укрылась в пещерной нише, где, благодаря расщелине в скале, смогла дышать. Так она выжила и, когда огонь унялся, спустя один день и одну ночь вышла наружу. Проскитавшись несколько недель до Урфы, она встретила там несколько армянских беженцев, и рассказала им об избиении младенцев.

А из третьего круга доносится голос Джемаль-паши, министра Морского Флота, встревоженного огромным количеством пльвших по Евфрату трупов. А затем возмущенного тем, что пути следования колонн могли помешать движению поездов. Тогда турецкие власти поняли, что сколь бы совершенным ни был план по истреблению армян, у него все-таки был недостаток: следом оставались тела убитых. Всеми своими силами этот недочет пытался устранить Решид-паша, префект Диарбекира:

– У нашего вилайета нет почти ничего общего с Евфратом. Плывающие по реке трупы, приходят сюда, по всей видимости, из вилайетов Эрзерум и Харпут. Тех, кто умирает здесь, кидают на дно пещер или, что бывает чаще всего, поливают нефтью и сжигают. Редко находят место, достаточное для их захоронения.

Возвращаемся к первому кругу:

– Вы не видели тех мест, где соединялись колонны, сказал Грач Папазян, или, точнее, то, что от них оставалось. В Дейр-эз-Зоре. Тысячи изорванных в клочья палаток. Голые женщины и дети, настолько изнуренные голодом, что их желудки уже не принимали еду. Могильщики закидывали на повозки мертвых вперемешку с умирающими, чтобы уже не терять времени. Ночью, от холода, те, кто еще оставался в живых, укрывались мертвецами, чтобы согреться. Для мам самым большим счастьем было появление какого-нибудь бедуина, который забирал их ребенка, вызволяя его из этой гигантской могилы. Из-за дизентерии было невозможно дышать. Собаки рылись своими мордами в разодранных животах мертвецов. Только в октябре 1915 года через Рас-эль-Айн прошло более сорока тысяч охраняемых солдатами женщин, среди

которых не было ни одного здорового мужчины. Крестовый поход истерзанных женщин. Весь путь вдоль железной дороги был усеян расчлененными трупами изнасилованных женщин.

– Из миллиона восьмисот пятидесяти тысяч армян, живших на территории Османской Империи, говорил пастор Йоханнес Лепсиус, около миллиона четырехсот тысяч были депортированы. Из числа остальных четырехсот пятидесяти тысяч, около двухсот тысяч, в основном население Константинополя, Смирны и Алеппо, избежали депортации. Продвижение русских войск спасло жизнь остальным двумстам пятидесяти тысячам, бежавшим в русскую Армению, часть которых умерла там от тифа или от голода. Остальные сохранили себе жизнь, но навсегда утратили родные места. Из почти полутора миллиона депортированных армян лишь десятая часть добралась до Дейр-эз-Зора, конечного пункта назначения колонн. В августе 1916 года, их отправили в Мосул, но им было суждено погибнуть в песках пустыни или в глубине пещер, где мертвых сжигали вместе с умирающими.

Молчали. Круги собрались вокруг Армена Гаро. Он посмотрел на Шаана Натали, на Шаварша Мисакяна, потом на остальных. Взял фотографии и протянул сидящим в первом кругу, каждому согласно своему заданию.

– И все-таки, устало повторил он, не убивайте женщин и детей.

Место, где они жили, казалось старикам-армянам моего детства случайным. Некоторым казалось случайным и время, в которое они жили, только время было труднее пережить. И именно поэтому время, выступая со страниц альбомов с фотографиями, из старой одежды или из-под мышек, в конечном итоге превратила их всех, одного за другим, в случайность.

А поскольку место было ничем иным, как условностью, на которую можно было не обращать внимания, когда обстоятельства были не слишком враждебными, мои старики жили очарованием широких пространств. Они говорили так, словно могли пребывать одновременно в нескольких местах. Это, очевидно, помогло им выжить, когда, казалось, это было труднее всего, но помогло и умереть, когда больше ничего уже не оставалось.

Отношение моих дедушек к этому вопросу было различным. Дедушка Седрак, отец моей матери, казалось, никогда не скучал. Его старший брат, Арутюн, умер под саблей у него на глазах, и это дало ему возможность убежать и остаться в живых. Но, так как вместо него умер кто-то другой, он считал, что его жизнь в некотором смысле принадлежала не только ему, или принадлежала ему только наполовину, будучи

своего рода жизнью взаимы. Поскольку для того, чтобы он жил, умер кто-то другой, то он возвращал этот долг, живя, в свою очередь, для других. Он жил для своих дочерей: Елизаветы, моей мамы, и Маро, которую назвал именем своей сестры, погребенной в потоках Евфрата, этой могиле без земли. Он жил, чтобы одаривать бедных детей, чтобы обеспечивать приданым работавших в лавке парней, собиравшихся жениться, чтобы одевать нагих и кормить голодных. Он носил еду военнопленным армянам из русской армии, состоявшим в трудовых отрядах при правительстве Антонеску. Он получал оплеухи при правительстве легионеров, поскольку его считали евреем, и только крест, который он носил на шее, спасал его от еще больших неприятностей. Он получал оплеухи и после прихода к власти коммунистического правительства, поскольку его считали легионером, и на этот раз в кресте, который он носил на груди, не было уже никакой пользы, скорее даже напротив. Но, как говорит Экклезиаст, хлеб, пущенный по воде, однажды вернулся, и один из армянских военнопленных, к которому он когда-то проявил жалость, явился снова, но уже в качестве офицера Красной Армии, так что красные от пощечин щеки и конфискация магазинов стали единственными бедами, которые ему довелось пережить, потому что коммунисты все-таки оставили за ним один из домов и, проявив снисхождение, не отправили его за решетку по обвинению в эксплуатации. Другое дело, что никаких доказательств того, что он кого-то эксплуатировал, не было, но коммунисты в такие тонкости не вдавались. Им было достаточно, что бабушка носила меха, в доме стояло пианино, летом семья ездила на курорт в Олэнешть и, в довершение всего, по воскресеньям дедушка устраивал на террасе у Паши пирушки с лэутарами. Став ночным сторожем в Лицее имени Братьев Бузешть в Крайове, у дедушки Седрака было достаточно времени, чтобы размышлять обо всем этом бессонными ночами. Как и о полученном в 1942 году извещении о том, что, по приказу маршала, его и всю его семью вместе с остальными нансеновскими апатридами поселят в лагере в Тыргу-Жиу. Приказ был отозван, и бабушка достала из сундуков принадлежавшие ей и ее дочерям толстые вещи и шерстяные носки, а в деревянном чемодане оставила вещи дедушки Седрака, которому, едва избежав поселения, предстояла военная служба. Весной 1944 года, попрощавшись с семьей, он отправился в Бухарест, где его карьера солдата Румынской Армии, как, впрочем, и остальных рекрутов нансеновской кампании, продолжалась всего три дня. Как коммерческая ухватка уместилась в казарменные сапоги и в застегнутую на все пуговицы форму – история об этом умалчивает. Кампания прошла двухдневный инструктаж, а на третий день, размещенная в казармах вблизи Северного Вокзала, впервые применила полученные знания на практике, наблюдая за проходившей

напротив бомбежкой вокзала. При открытой настежь казарме, при таких гордых и таких неуклюжих рекрутах, которые предпочли бы скорее торговать боевым снаряжением, чем использовать его в военных целях, апатридо-румынская кампания, состоявшая из армянских рекрутов, растворилась сама собой, а армяне, увидев, что никто больше не зовет их на сборы, разбежались кто куда.

Так что у дедушки Седрака, в течение всего нескольких лет прошедшего через столько состояний, попеременно обогащаясь и разоряясь, получая пощечины и обзываясь жидом, помещаясь в лагерь, призываясь и демобилизуясь, вновь получая пощечины, имея репутацию мещанина и лишаясь ее, было полное право считать этот мир непостижимым. А тот, кто считал, что мир не является непостижимым, ничего, по словам дедушки, не понимал. И, чтобы доказать насколько абсурдным является мир, он прибег к решающему аргументу, которым располагал, а именно к уроку собственной смерти. Сначала, возвращаясь со Старого Рынка, перед самым Колодцем Свиная, он попал под машину, затем, пытаясь подремонтировать стреху, упал вниз головой с крыши своего дома по улице Бараць, номер 4. И лишь с третьей попытки, зимой 1985 года он умер от холода, когда коммунисты экономили газ, и с этой целью не давали его по несколько дней кряду и, чтобы экономия была эффективнее, делали это именно во время самых сильных морозов.

А поскольку для человека, который, словно шов через подкладку, столько раз проходил через смерть, не было ничего нелепее, чем умереть от того, что коммунистическое государство экономит на газе, дедушка Седрак скончался в покое, который запечатлелся на его фигуре. Его похоронили на католическом кладбище в Крайове, но не потому, что он был католиком, а чтобы и дальше все оставалось, как и прежде, необъяснимым.

Дедушка Карапет считал, напротив, что объяснение есть всему на свете. В отличие от дедушки Седрака, который годы, назначенные для школы, провел в приютах и в учениках, дедушка Карапет окончил сельскохозяйственный лицей в Константинополе, что было большим делом в начале того века. Он многое знал, был смекалист и усерден в учебе и ни за что на свете, к неудовольствию бабушки Аршалуйс, не променял бы науку на торговлю. Вследствие чего, пока дедушка Седрак сколачивал деньги на кофе, маслинах, какао и изюме, дедушка Карапет, занявшись торговлей, был вечным банкротом. Или мог бы им стать, если бы Саак Шейтанян, его кум, позволил ему поступать по-своему. Но быть вечным банкротом не было его единственной профессией. Дедушка Карапет был церковным учителем, скрипачом, играющим по нотам, мотоциклистом, каллиграфом, фотографом, художником,

учителем музыки и армянского языка, портретистом, вышивальщиком и лэутаром по случаю, то есть занимался всеми профессиями, которые не приносили почти никакого дохода. В конечном итоге, мой род был с миром в расчете: дедушка Седрак собирал, дедушка Карапет растрачивал. Коммунизм сгладил различия: дедушка Седрак уже не мог собирать, а дедушке Карапету уже нечего было тратить.

А поскольку для дедушки Карапета все мирское, измеряемое в деньгах, было несущественным, его жизнь не сильно изменилась после прихода коммунистов. В действительности, что касается прежних занятий, жизнь армян в Фокшань изменилась не сильно. Кто был часовщиком, тот и остался часовщиком. Кто был сапожником, остался сапожником. Кто торговал колониальными товарами, продолжал ими торговать. Звонарь остался звонарем, врач оставался врачом. И, разумеется, поп тоже не снял с себя рясы. Если ремесла остались теми же, то ремесленники, увы, мучились. Потому что швейцарские механизмы, которые ремонтировали часовщики, сменились на русские, место лакированных башмаков и туфель на каблучках заняли ботинки, которые чинили до тех пор, пока подошва не становилась толще самой ступни. Остались магазины со сладостями, но с их полок исчезли деликатесы, *локумуры*, *тахинная халва*, *леблеби*, коробки с какао Ван Гуттена, мешки с кофе, мармелад из тропических фруктов, миндаль в шоколаде; взамен появилось тесто, обернутое в жир, твердые вафли и пересушенные печенья, с которых отставал рыхлый крем. Лишь кусочки леденцового сахара, ловя осколки света, сохраняли мелкое и упрямое мерцание прежнего блеска. Тер-Дакад Асланян, закатав с помощью звонаря Аршака свою рясу, спрятал в старых тайниках церковные книги и драгоценности. Одну за другой он осторожно вынул их лишь через несколько лет, достав в конечном итоге самое дорогое сокровище, серебряную птицу, из клюва которой в Крещенскую воду капало оставшееся миро, обновляемое каждые семь лет из масла, освещенного в 301 году самим Григорием Просветителем. Колокол стал молчаливее и задумчивее. Аршак забирался на колокольню не столько для того, чтобы потянуть за веревку, сколько чтобы поговорить с колоколом, который отвечал ему молчанием разной глубины, словно орган, трубы которого не играют, а дышат. И для того, чтобы заглянуть в окошко, выходящее на юг, узкое ровно настолько, чтобы выставить в него мушкет, но достаточно высокое, чтобы обозреть до самого края города, не идут ли американцы. Через южное окошко американцев видно не было, но зато через северное окошко было видно, как по дороге Текуча идут русские. И по прошествии больше десяти лет, пока южное окошко молчало, тоже через северное окошко, но уже вместе с другими членами приходского совета, которым было позволено заглядывать в него по очереди,

Аршак наблюдал за тем, как по той же дороге Текуча русские войска уходят. Но было слишком поздно, красные флаги уже пустили корни, а серп и молот на их гербах слились со штукатуркой, так что сорвать их с фронтонов можно было только вместе со стеной. Как верно заметил Саак Шейтанян, дольше других задержавшись у окошка: «Для того чтобы обрести свободу, нужно будет не им уйти, и нам остаться, а уйти нам самим, а остаться им». Было туманное утро после дождливой ночи, русские солдаты скрылись быстро, земля покрывала их сапоги грязью, так что пыли позади себя они не оставляли.

И врачи остались врачами, но, как это случается после каждой войны, предав земле попеременно людей, умерших от голода, от кровоточащих ран, дрожащих от тифа и тех, кто проливал слезы всем им вослед, они теперь уже не справлялись с родами. В мире, вывернутом наизнанку, где солнце садилось на востоке, дети рождались стариками.

Итак, мой дедушка Карапет Восканян был равноудален от всего, что происходило. Он хотел понять мир и потому считал его воссоздаваемым, заставлял примеры жить вместо него. Для него примером страдания был монах Комитас, на которого он все больше начал походить к старости, так что, когда я впервые увидел посмертную маску Комитаса, сохраненную монахами-мхитаристами на венецианском острове Сан-Ладзаро, я вздрогнул перед необычным подобием. Для моего дедушки отец Комитас был, вероятно, не только примером страдания, но и примером безумия.

Зачастую он неподвижно сидел и что-то про себя бормотал. Мы не знали, о чем он говорит, бабушка не разрешала нам подходить ближе. Эти страницы *Книги шепотов* остались белыми. В другой раз он запирался в комнате и пел. У него был баритон, который быстро поднимался до высокого тенора, точно голос Комитаса, который потряс Венсана д'Энди, Камиля Сен-Санса и Клода Дебюсси. Он пел и аккомпанировал себе на скрипке, напрягая смычком сразу несколько струн, так что создавалось впечатление, будто играл квартет.

Комитас был арестован 24 апреля 1915 года, как и его друзья – поэты Даниел Варужан, Рубен Севак и Сиаманто. Он остался в одной архимандритской тунике, этому чину не подходил только капюшон, который символизировал своим острием гору Арарат, и который носят все представители Армянской Церкви: от католикоса до монаха. Капюшон и накидку он отдал беднякам, которые шли в колонне. Их довели на машинах почти до самого Чангуири. Комитас замешался в толпу, пытаясь, как мог, облегчить людям страдания, призывая их сохранять веру в Бога. Ночью он оставался один и начинал бормотать. Поначалу его спутники думали, что он молится, но он не

молился, а обращался к кому-то, и если это был Бог, то слова, необычные для монаха, казались укоряющими, наподобие вывернутых наизнанку псалмов. И однажды он увидел женщину, готовую разрешиться, но прежде чем он успел подойти, солдат разрубил саблей раздутый и подергивающийся живот женщины. С того момента Комитас онемел, словно Андрей Рублев пятью веками ранее перед жестокостью татар. Снова он заговорил всего один раз, остальные подумали вначале, что это шутка, но потом поняли, что отец Комитас дал волю своим мыслям. Он остановился и сказал своим спутникам: «Не спешите! Пусть солдаты пойдут впереди нас...» Потом, когда Даниела Варужана должны были забрать и убить, Комитас заговорил в последний раз. На самом деле, он ничего сказал, а пропел. Сначала псалмы, «Прости меня, Боже!», но таким строгим голосом, будто ждал, чтобы Бог сам попросил у нас прощения, потом *Крунк – Журавля*. И, когда он закончил, его охватил смех. Всю ночь раздавался этот хохот, скрипучий и нервный, словно прогнившая ткань, которую все рвешь и рвешь, складывая вчетверо, и снова рвешь. Многие из них, начиная с Даниела Варужана и Сиаманто, были тогда убиты. Не зная, как поступить с архимандритом Комитасом, Огуз-бей в конце концов отправил его обратно в Константинополь. Он умел убивать людей, валившихся с ног и пытавшихся бежать, убивал умолявших, заклинавших, плачущих или проклинавших, но не знал, как умертвить человека, который смеется.

А Комитас смеялся без остановки, это был невиданный смех, вбиравший в себя слезы страждущих, и презиравший убийц: тот смех показывал, что в Комитасе больше нечего было убивать.

Он так никогда и не оправился. Друзья повезли его в Париж, в санаторий. Он умер двадцать лет спустя, а смех и плач примирились на его посмертной маске. Его лицо спокойно, каким было и лицо моего дедушки, словно смерть была только привалом, словно, ухватившись за стенки прохладного колодца, заглядываешь в его глубину.

Дедушка Карапет пел *Журавля*, песню, в которой говорилось о родных местах, потом он не закатывался смехом, а умолкал. Я знаю, чем он занимался, потому что следы оставались на полотне, хохот моего дедушки состоял из красок: без всякого смысла, как мне казалось, он наносил их на полотно кистью, просто пальцем, окунутым в палитру, или, когда смех унять было невозможно, выдавливал тюбик прямо на полотно. Преобладали черный и оранжевый, которые дедушка исследовал самым внимательным образом, это был его способ понять самого себя. В стремлении понять мир дедушка закреплял за каждой вещью свои методологические нормы. Себя, например, он расшифровывал при помощи красок. У человека есть энергетический

заряд. Энергия в первую очередь подразумевает свет. Свет это комбинация цветов, по их спектру можно понять, с какого свет идет расстояния, какое тело его испускает, какая теперь часть дня. То же самое и в отношении человека, ставишь перед ним кристальную пирамиду и рассматриваешь его спектр. Вот он я, говорил дедушка, рассматривая вблизи листок, изборозженный прерывистыми цветами, даже прикасаясь к нему, чтобы увидеть не только цвет и изящество линий, но и гладкость или жесткость туши.

Впрочем, это были редкие моменты его участия. В остальном он рассматривал вещи терпеливо и тщательно. Даже когда ел, чтобы понять суть еды, он разжевывал каждый кусок до тридцати трех раз, необходимое количество пережевываний, по его словам, чтобы понять, с одной стороны, вкус и смысл каждого продукта, а с другой, чтобы достаточно измельчить еду и сохранить желудок. По правде говоря, та самая равноудаленная от всего точка была равноудаленной и от самой себя. Смотреть на себя с тем же любопытством и отстраненностью, с какими изучаешь деревья в саду или хронологию войны, из точки, откуда все можно рассматривать извне – тоже своего рода безумство. Только, как это хорошо было видно, моделью своего страдания дедушка избрал отца Комитаса, но не для того, чтобы ему подражать, а чтобы стать его зеркальным отражением. В то время как безумство отца Комитаса было безумством, шедшим изнутри, безумство дедушки Карапета было безумством, шедшим извне.

Поэтому, говорил мой дедушка, считавший, что мир существует только для того, чтобы его понять, когда выучиваешь себя наизусть, когда становишься настолько предсказуемым, что начинаешь читать себя с наружной стороны, словно стихотворение с началом и концом, и даже с рифмой, тогда наступает время умереть.

Если, живя в этом мире, дедушка Карапет Восканян понимал, а дедушка Седрак Меликян не понимал, то крестный отец Саак Шейтанян страдал. И если для дедушки Карапета самое главное понимание – понимание себя – начиналось со встречи со скрещенными красками, а для дедушки Седрака непонимание себя начиналось с полученных с лихвой пощечин, то для Саака Шейтаняна страдание начиналось со встречи с Юсуфом.

ВОСЕМЬ

ИСТОРИЯ ЮСУФА. В *Книге шепотов* нет вымышленных персонажей, поскольку все они жили на этом свете, в свое время, в своем месте и под своими именами. Есть лишь один персонаж, который может казаться вымышленным из-за того, что его существование превращает *Книгу шепотов* в многоступенчатую реальность, умножающую себя, подобно зеркалам, поставленным друг напротив друга. Зачастую я пишу о повествователе *Книги шепотов*. В моем повествовании повествователь повествует о *Книге шепотов*. А в этой новой повествуемой книге снова появляется повествователь, который повествует. Он повествует о повествователе и о его повествовании. Если бы порядок был другим, и мы добрались бы до последнего повествователя, того, у которого нет пристрастия описывать самого себя, и если бы от него мы бы перешли ко мне, тогда мы бы увидели сон, потом сон во сне и так далее. Так, рассказывая о том, кто пишет, а тот, в свою очередь, склонившись над рукописью, в которой фигурирует персонаж, названный автором, и тоже пишущий, мы словно спускаемся по ступенькам, что напоминает те самые деревянные игрушки, матрешки, которые привез с собою старик Мусаян из Сибири, перепутав количество лет, и забыв, что его сын Аракел был уже призывного возраста.

Среди стольких реальных персонажей, некоторые имена можно найти также в книгах по истории, а другие – только в *Книге шепотов*. Хотя книга чаще всего говорит о прошлом, она – не книга по истории, так как в книгах по истории в основном рассказывается о победителях; это скорее собрание псалмов, так как она главным образом рассказывает о побежденных. А среди персонажей книги есть один, которого никогда не существовало, и у которого, вопреки или, может, именно благодаря этому, даже есть имя: его зовут Юсуф. Этот Юсуф был ничем иным, как заимствованным именем, и существует в *Книге шепота* только потому, что, хотя он и не входил в план *Книги*, все-таки является ключом, который отпирает дверь самой скорбной комнаты пограничного века, с ее голыми, расцарапанными ногтями стенами, с разобранным полом и землей, насыпанной маленькими холмиками, не уложенной как следует, как это бывает с устроенными наспех могилами. А самые поспешные среди могил – это общие ямы.

Живые и мертвые принадлежат небу и земле. Лишь умирающие принадлежат целиком смерти. Она прогуливается среди них, она неподдельно печальна, быть умирающим – это состояние, за которым смерть присматривает, чтобы оно не

завершилось слишком быстро. Это ее свежий овес. Умирание – это посвящение в смерть. От Мамуры до Дейр-эз-Зора, на отрезке в триста километров, целый народ прошел через семь кругов, прошел путь посвящения в смерть. В конце которого Саак Шейтанян встретился с Юсуфом.

МАМУРА. КРУГ ПЕРВЫЙ. Дорога шла прямо, вдоль железнодорожного пути. Колонны, собравшие армян из самых разных мест, европейской Анатолии, Смирны, Измита или Адрианополя, либо из вилайетов западной Анатолии, из Требизонда, Эрзерума или Харпута, входили в первый круг пешком. Шагая один подле другого и опустив головы, издали они походили на паломников. Однако паломников ведет вера, а не конвой солдат, понукающий шедших лошадиными мордами, или ударами кнута возвращающий отстающих в колонну. Семья Саака Шейтаняна состояла из пяти человек: бабушки, родителей, его самого и младшей сестры. Двое старших детей, Симон и Айкуй, были тайно отправлены в Константинополь. Его мать, Эрмине, была волевой женщиной. Она пока хорошо держалась на ногах, обнимала своих детей и шла прямо, держась центра колонны, чтобы уберечь их от лошадиных копыт. И чтобы оградить их от вида трупов, лежавших на обочине, и изодранных воронами. У них было немного денег, Рубен, отец, спрятал их за пазуху. На часть из них они смогли оплатить что-то вроде билетов, купив, скорее, благосклонность начальника вокзала в Измиде, и сели в поезд, на котором переправились через линию Эскишир-Конья-Бизанти-Адана до середины пути на Мамуру, где поезд остановился по приказу армии, перекрывшей железную дорогу. Однако остановка поезда, несмотря на то, что изнурительный путь, который им предстоял, лежал через скалистые тропы или знойную равнину, спасла им жизнь, так как люди теснились в переполненных вагонах для скота, продукты заканчивались, а воды им никто не давал. Мертвые тела, оставшиеся в вагонах, принадлежали тем, кто умер накануне, потому что всех, кто умирал по дороге, сбрасывали с вагонов вдоль железнодорожной насыпи.

Таким образом, им повезло дважды. Во-первых, потому что им не пришлось идти сотни километров пешком и, во-вторых, потому что их сняли с вагонов как раз в тот момент, когда они все уже могли умереть от удушья. Но у большинства, особенно у колонн из западных вилайетов, этой возможности не было. Весь путь те прошли пешком, некоторые из них, самые состоятельные, сумели раздобыть себе повозки и мулов. В результате переутомления, холода, голода, грабежей и резни, из почти полутора миллионов депортированных половина скончалась прежде, чем достигла

рубежа первого круга. К ним следует прибавить тех, которые все-таки к нему пришли, но не на своих ногах, а по волнам Тигра и Евфрата.

В сентябре ночи становились все холоднее, хотя полуденная жара еще не унималась. Их согнали на широкий участок возле вокзала в Мамуре. Сколько хватало глаз, из непонятно чего, из одеял, одежды, циновок, люди сооружали себе что-то наподобие палаток. Большая их часть опиралась только на четыре палки, на которые была натянута обесцвеченная ткань площадью в три-четыре квадратных метра, годившаяся лишь на то, чтобы укрывать от солнца и дождя, но совершенно бессильная против холода. Взглядом Саак насчитал столько палаток, что им не было видно конца и края. Их нарочно разместили на краю города, по ту сторону железной дороги, чтобы можно было легче сторожить границу рельс, и чтобы никто не осмеливался выходить в город за хлебом. У них еще кое-что оставалось, они ели торопливо и осторожно в тени палатки, чтобы не заметили окружающие.

Время от времени, отдельные группы подходили к железной дороге, но их отгоняли обратно к лагерю. Но, в конце концов, солдаты перестали им угрожать, позволив делать свое дело. Потому что на этот раз от палатки к палатке ходили те, кто помогал перетаскивать мертвых. И, чтобы не оставлять мертвых в полном одиночестве, их укладывали рядом друг с другом, потом, когда их стало слишком много, их начали класть поверх друг друга, так что смерть устроила небольшие курганы, окружавшие лагерь наподобие сторожевых башенок. Животные храпели от голода и запаха смерти, особенно мулы, запряженные в повозки или навьюченные узлами, и оказавшиеся выносливее лошадей, которые умерли либо от голода, либо от разрыва связок на горных тропах. Собаки держались в стороне, чуя в глазах людей такое же чувство голода и травли, и терпеливо, вместе со стаями воронов, ждали наступления ночи.

Они спали, тесно друг к другу прижавшись, чтобы согреться. Днем они раздевались и развешивали над собой связанную в узел одежду. Договорились с недавно поженившейся парой из Коньи разделить с ними их повозку, а мужчины, помогая мулу, по очереди толкали ее сзади. Некая женщина вызвалась сшить им циновки, чтобы легче переносить порывы ветра. Она была вместе со своим женихом, они должны были пожениться, но свадебные гости скончались в дороге.

У матери Саака было два горшка, в которые она собирала дождевую воду. Когда вода заканчивалась, они увлажняли губы тряпками, которые развешивали на ночь, чтобы пропитать их туманом.

Когда множество палаток раскидывалось слишком широко, угрожая перекинуться через железную дорогу, а трупов становилось так много, что воздух наполнялся густым запахом смерти, солдаты принимались носиться верхом среди палаток, снова сгоняя несколько тысяч человек в путь. Палатки рушились под копытами лошадей, ударами кнута людей подталкивали к обочине. Если те не успевали достаточно быстро связать вещи в узлы или собрать палатки, всадники подстегивали их, поджигая крыши из сухой ткани.

Их черед подошел к концу октября. До следующего привала оставалось пройти расстояние, которое человек в добром здравии смог бы осилить за пять часов, но на которое у них ушло почти два дня.

ИСЛАХИЕ. КРУГ ВТОРОЙ. Дорога проходила по гребням Амануса, потом по краю реки спускалась к Ислахии. По достижении второго круга выпал первый снег. Многие были одеты в истончившиеся лохмотья, и только пыль, впитавшись вместе с потом, удерживала в одеждах тепло. Накинув на мула одеяло, они всю дорогу укрывались циновками. Бросили повозку, которая не умещалась на узких тропках, и мужчины взвалили себе на спины столько вещей, сколько могли унести. Когда немного потеплело, они разорвали одну из циновок на полоски и привязались друг к другу, чтобы не соскользнуть с крутых склонов. Это была чистая горная дорога, такой же она осталась и после прохождения колонны, так как тех, кто падал от бессилия, ударами палок сталкивали в пропасть. Старуха ехала на муле, это помогло ей в пути, в отличие от многих других, которые скончались от потери сил или, умирая, падали и разбивались о скалы. По достижении равнины навстречу колонне вышел отряд из нескольких десятков вооруженных курдов. Словно по команде, солдаты затоптались на месте, позволяя беззащитной колонне идти дальше. Люди остановились, испуганно глядя на всадников, которые устремились на них, размахивая мушкетами и саблями. Плоскогорье было узким, за спиной были горы, по ту и другую стороны – крутые долины, а впереди – всадники. Сцена, известная из сотен рассказов. Брошенные, беспомощные колонны, большей частью женщины и дети, бросившиеся, ища спасения, врассыпную по равнине, и не знавшие, что лишь отделяясь от толпы, они становились верной добычей пустившихся грабить и убивать всадников, состоявших либо из вооруженных и специально выпущенных из турецких тюрем преступников, либо из курдов, чеченцев или бедуинов. Они редко нападали внезапно, чаще всего их осведомляли о дате и пути следования конвоя, а солдатам рекомендовалось отходить в сторону, позволяя тем делать свое дело. Иногда только грабить и забирать молодых

девушек, в другой раз, что случалось гораздо чаще, вырезать всех до последнего. Не было никаких правил, тебя могли убить из-за денег или украшений или же потому, что тебе нечего было предложить. Вернее всего было свернуться или распластаться, притворившись мертвым. Если везло, и тебя не раздавливали под конскими копытами, можно было остаться в живых, до тех пор пока, все еще преследуя движущиеся цели, всадники не уставали, или пока не спускалась мгла, и тогда они удалялись, ликуя и унося на подпругах лошадей изнывающих женщин. За ними оставалось усеянное трупами поле, посреди которого потихоньку вставали растерянные, оставшиеся в живых люди.

Жених девушки, с которой они подружились, тоже был убит. На шее он носил дешевую блестящую цепочку, которой один из всадников решил завладеть не иначе, как отрубив тому голову. Они были вынуждены покинуть его там, оставив на растерзание животных.

Неся на себе раненых, они достигли равнины Ислахии только с наступлением дня. У входа в лагерь по обе стороны стояли две кучи трупов, в основном детских. Растянули палатки. Еда кончалась. Утром солдаты верхом бороздили равнину, беспорядочно раскидывая среди палаток хлеб. Люди накидывались по несколько человек на кусок и устраивали из-за него драку. К обеду лагерь затихал, люди ползали по своим палаткам, хлопоча вокруг умирающих.

Солдаты держались на расстоянии, так как тяжелый запах смерти отдавал не сладковатым, а острым оттенком, предвещавшим вспышку дизентерии. Командующий лагерем собрал здоровых мужчин и приказал им собрать мертвых. Так как голод и дизентерия унесли в те осенние месяцы в лагере Ислахии более шестидесяти тысяч жизней, командир приказал, чтобы мертвых перед погребением на два-три дня оставляли на окраине лагеря. Обдуваемые ветром, мертвецы усыхали и истончались, занимая меньше места; так, общие ямы становились вместительнее.

Потом они стянули палатки ближе друг к другу, чтобы грабители, особенно бедуины из близлежащих сел, не смогли к ним подобраться. Друг друга они не боялись, потому что ни один из депортированных не крал денег или золота, которыми невозможно было воспользоваться. А то, что они хотели бы получить, мука, сахар или вяленое мясо, давно закончилось. У стен или среди насыпей животные искали пучки травы. Те, кого дизентерия разрывала изнутри, лежали, свернувшись, в ожидании смерти. Остальные подолгу жевали кусочки крошащегося хлеба, раскиданного на полном скаку.

Случилось нечто чудесное и в то же время ужасное: выпал снег. Вытянув перед собой руки, люди выбежали из палаток, но в них было еще достаточно жизни, чтобы хлопья таяли в сложенных ковшиком ладонях, и они слизывали капельки с пальцев. Потом, увидев, что снег усиливается, они дождались, пока он покроет землю, и принялись лизать его вместе с собаками и мулами. Сааку повезло больше остальных, так как он заметил, что снег собирался и дольше удерживался главным образом на лбах мертвецов, которые были холоднее земли.

Но вместе со снегом пришел и лютый мороз, который заморозил землю, собрал циновки, из которых были устроены палатки, в режущие складки, очистил воздух, остановил копошение всего живого, и миазмы инеем выпали на землю. Люди прижимались друг к другу, стянувшись из нескольких палаток в самую вместительную, а если кому-то удавалось развести небольшой костер, растапливая несколько замороженных щепок, то они скучивались, даже если им лишь издали удавалось наблюдать за умирающим огоньком.

А те, кто находились при смерти, были настолько истощены голодом и обожжены морозом, что, когда их волокли среди палаток за руки или за ноги, их конечности, словно сухие ветки, с треском отламывались.

Когда снег растаял, снова начали собирать колонны. Небо обмякло, и пошел дождь. Дороги покрылись грязью. Полосками циновок они обвязали себе ноги, иначе, босые, они могли бы навсегда увязнуть в грязи, не имея сил вырваться. Под мелким дождем, размывавшим любые контуры, новый переход продолжался почти неделю. Подсчитать мертвых было невозможно, потому что на этом скрытом в тумане пути, где каждый не видел ничего кроме голубоватого пара собственного дыхания, вымоченная дождем плоть падавших была такой же мягкой и липкой, как и глина под ногами. На них наступали идущие следом, и их плоть, будто замешанная в черном тесте, покрывалась дорожной грязью. А дождь не переставал идти даже тогда, когда они добрались.

БАБ. КРУГ ТРЕТИЙ. Усеянное черными палатками поле тянулось по узкой полосе земли в нескольких километрах от населенного пункта, чтобы избежать доступа в него депортированных. Из-за глинистой почвы, вода, смешанная со снегом, начала застаиваться, превращаясь в болото.

Они не подсчитывали скончавшихся в пути, потому что уже не справлялись с теми, кто умирал в лагере депортированных теперь. Мужчины, сколько их еще осталось, разделились на две группы. Одни занимались перетаскиванием усопших за пределы лагеря и копанием общих ям. В круге третьем перетаскивать мертвых было

тяжелее, потому что, став сухими как рыхлая земля, и истончив кости на холоде, они впитывали воду и вздувались, а вымоченные в воде вены лопались, краснея, будто сырое мясо. Раздутые и почти негнущиеся, они занимали много места и, хотя земля была клейкой, ямы приходилось расширять.

Вторая группа мужчин бродила по полям в поисках еды, приближаясь к городу только до мусорных свалок и окраин бедных кварталов, и чаще всего находя только падаль. Некоторые из них, еще не утратив подвижности, закидывали камнями воронов или охотились на собак, которые бегали вокруг лагеря, ожидая наступления ночи, после чего разгребали наспех засыпанные могилы в поисках еще не сгнившего мяса.

Так вспыхнула эпидемия тифа. Первым делом она ударила по детям. Их щеки покрылись красными пятнами, но по причине убогости обстановки они быстро превратились в кровоточащие язвы, в которых кровь смешивалась с потом лихорадки. Потом болезнь перешла и на их матерей, которые не могли удержаться от того, чтобы не обнимать трясущихся в жаре младенцев. Только зимний мороз помешал заражению остальных. По причине того же мороза у заболевших не было никаких шансов выжить. Боясь заразиться, солдаты держались поодаль, и лишь изредка, не слезая с коней, проносились среди палаток, наспех разбрасывая в мокрый снег хлеб. Никто и не думал вытирать его от грязи, счастливики, которым удавалось схватить кусок хлеба, спешили разделить его с теми, кто оставался в палатках, или, сжимаясь в комок и упирая голову в грудь, крепко хватались за краюху и заглатывали ее, не разжевывая, чтобы кто-нибудь другой не набросился и не вырвал ее из рук.

Время от времени, в основном женщины, сходявшие с ума от жалости к умирающим детям, кто-нибудь набирался смелости подойти к границе поселения, чтобы попросить еды, или чтобы подыскать более надежную палатку с чистыми циновками. Если их не пристреливали на месте, то прогоняли обратно, забрасывая камнями или избивая палками.

Женщина, вместе с которой они пустились в путь, заболела. Она лежала, свернувшись клубком, а они не могли помочь ей ничем иным, как укрыть всеми имевшимися у них циновками. Однажды глава семьи Шейтанян вернулся, держа в руках убитого ворона, которого он поймал, когда птица вместе со стаей кружила над кучами трупов. В глазах мужчины блестел дикий огонек, его впалые щеки были покрыты клоچьями седых волос, одежда превратилась в лохмотья, а чтобы ветер их не унес, он привязал их веревкой, которую несколько раз обернул вокруг тела, от груди до самого пояса. Вместо обуви у него были две связанные в узел тряпичные полоски, а к ступням он привязал кусок доски. Это делало его походку неровной и шаркающей,

время от времени он поднимал ступни, чтобы переступить через пороги. Чтобы охотиться, ему не нужно было бегать, да ему бы и не хватило сил это делать, усопших приходилось только тащить, а в собак и воронов, отягченных едой, которой их с избытком насыщал лагерь, было достаточно ловко запустить камнем, а потом тем же камнем раздробить им голову. Или быстро ее свернуть. Что Рубен Шейтанян и сделал, так как голова птицы висела в неестественной позиции. Увидав его в таком виде, Эрмине, заволновавшись, прижала детей к груди и прошептала: «*Ур ес, Асдвадз?* Где ты, Боже?» «Бог лежит при смерти, женщина, сказал мужчина. Вот, его ангелы уже мертвы». И бросил черную птицу на середину палатки.

Из влажных щепок им с трудом удалось развести удушливый огонь, и они поджарили мясо ошипанной птицы. Но это не помогло больной женщине, чей сжавшийся желудок больше не принимал еды. Она изрыгнула единственный кусок, который ей удалось проглотить, и, немного погодя, не сумев справиться со спазмами, умерла от удушья. «Это знак черного ангела», пробормотала Эрмине. «Это другой, еще более проклятый знак, сказал Рубен, если Бог убивает даже черных ангелов». И посмотрел на свинцовое небо, на топкую землю, на мелкий дождь и пары, поднимавшиеся над лагерем, которые алчной и смертоносной мглой соединяли небо и землю. Они взвалили женщину на мула, так что она повисла по обе стороны, как переметная сумка, и Рубен повез ее к окраине, туда, где трупы вздувались и вытягивались как студенистая масса. Но сначала они ее раздели и разделили одежду между младшей сестрой Саака, чтобы защитить ее от холода, и молодой девушкой или Коньи, чтобы, увидев ее нагой, бедуины не попытались ею завладеть.

Сколько бы местные жители не береглись, прогоняя депортированных, маячащих у окраины, словно собак, всем, чем ни попадя, и выкрикивая «Эрмени! Эрмени!», чтобы и остальные вышли и забросали камнями существа, в нерешительности приближающиеся, и протягивающие руки, стало быть, сколько бы они не береглись, тиф проник и в город. Тогда арабы собрали воинов и напали на лагерь депортированных, бороздя его копытами лошадей, рубя людей саблями или стреляя в них из ружей, ударяя плашмя, погоняя их ударами дубин и поджигая палатки. Солдаты, как всегда, безучастно смотрели, с охотой принимая помощь, которую, как и раньше, толпы воинов, оказывали голоду, дизентерии и тифу. Бойня продолжалась весь день, а воины пообещали вернуться, если на другой же день депортированные куда угодно не уберутся подальше от их домов.

Хотя, согласно инструкции, лагерь в Бабе должен был находиться в изоляции до наступления весны, по причине недовольства местных жителей, колонны снова

пустились в путь. Было 5 января, на самом деле, в точности этого никто не знал, никто не вел счета дням и, поскольку не было ни одного признака, который отличал бы один день от другого, каким является, к примеру, воскресная служба, то люди замечали лишь смену времен года, и то довольно приблизительно. Единственный более или менее точный подсчет касался числа мертвых, его вели турецкие солдаты, делая штыками зарубки на ближайших столбах от места захоронения трупов. Но и они сбились со счета, когда, вместе со вспышкой тифа, мертвых стали привозить на повозках и сваливать прямо в ямы.

Наступление Рождества они попытались рассчитать по удлинению ночей, но поскольку небо было постоянно затянуто свинцовыми тучами, ночи казались длиннее, чем они были на самом деле. И мертвых становилось больше, потому что те, кто находились при последнем издыхании, умирали в основном ночью. Но, поскольку первые колонны выходили в путь на другой день, и никто не знал, сколько из них дойдет до конца, то бывшие среди них священники, которые выделялись среди остальных лишь своими более длинными бородами, решили, что той ночью будет Сочельник.

Те, у кого еще оставался огрызок свечи, зажгли его. Эрмине сказала: «Пусть будет виден свет». Они сожгли всю свечу, вытягивая пальцами теплый воск и растирая его в ладонях. Нужно было бы оставить еще один кусочек и для ночи Воскресения. «До тех пор, сказал Рубен, обматывая себе ступни, мы все уже будем мертвы».

МЕСКЕНЕ. ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ. Чтобы не подходить к Алеппо, где снова был риск заражения, перед лицом растущей враждебности местного населения и согласно специальному приказу Джемаль-паши, который предписывал, чтобы депортированные и их колонны держались подальше от железной дороги, конвой свернул с более доступного пути, через Алеппо и Себил, и пошел по диким местам, через Тефридже и Лале. Человек в добром здравии мог бы пройти путь от Баба до Мескене за два дня, если учитывать, что он мог бы при этом останавливаться в караван-сараях Лале, чтобы передохнуть и плотно поесть, и что у него могли бы быть с собой бурдюки с водой, нагруженные на мулов. Выйдя из Баба, колонны проделывали тот же путь как минимум за десять дней, добираясь иногда и через две недели.

По выходе из Баба снова пошел снег. Поскольку они шли не по большой дороге через Алеппо, а снег засыпал все вокруг, то колонны зачастую теряли направление и, немного прикинув, солдаты разворачивали их на нужный путь, подталкивая с одной и с другой стороны лошадиными мордами. Ошибиться было совсем не трудно, потому что

шедшие под конвоем, даже самые выносливые из первых рядов, подставив грудь ветру, шли вперед с опущенным взглядом, лишь изредка поднимая глаза, но не на дорогу, которую они считали бесконечной, а на небо, чтобы отыскать в нем хоть один проблеск света – знак, что снег прекратится, или хоть какой-нибудь знак. Они кутались во все ткани и циновки, которые у них еще оставались, и которые они привязывали к телу веревками, чтобы ветер их не унес. Самые толстые одеяла они оставляли для ног, выкраивая из них что-то вроде валенок, которые они смачивали в масле, если оно у них еще было, или в нефтяных ямах, чтобы не дать снегу впитаться. Колонна вышла компактной группой, однако потом, по мере изнеможения, она растянулась почти на километр. Солдаты довольствовались только тем, что подталкивали их, и больше не подгоняли, потому что те, кого подстегивали кнутом или палкой, вместо того, чтобы прибавить шаг, падали на колени. Этих, видя в них признак бунта, они убивали, экономя пули, одними ударами палки по мягкой части головы. Те без сознания падали в снег, что было равносильно смерти. Потом солдаты перестали это делать, позволив им передвигаться в меру своих сил. Изнуренные шли медленнее, оставаясь в хвосте колонны, все с большим трудом они вырывали ноги из сугробов, и, в конце концов, останавливались, вогнанные в снег, будучи уже не в силах согнуть колени замороженных ног. Они так и умирали, на ногах, раскинув по ветру руки, словно черные, сухие деревья. Люди с повозками, посланные впоследствии губернатором Алеппо, обеспокоенного большим числом мертвецов, которые, оставшись позади колонны, могли занести в город заразу, находили их иногда даже спустя несколько дней все еще на ногах, с замороженными, скрипящими на ветру руками. Они попросту вынимали их из снега, словно какие-нибудь пни с прогнившими корнями, говоря себе, что земля пресытилась столькими мертвецами, а этих решила оставить умирать на ногах.

Они спали в заброшенных караван-сараях, останавливаясь в них иногда на два дня, чтобы восстановить силы. Из Алеппо вместе с повозками для мертвецов пришло несколько мешков с *булгуром*, походившим на очищенную пшеницу, которого им раздали ровно столько, сколько помещалось у каждого в собранных ковшиком ладонях. В Тефридже, а потом в Лале они увидели издали множество больших шатров, растянутых на столбах, покрытых железной крышей, в некоторых из которых были даже кирпичные пристанища, и обрадовались, что смогут защититься от холода. Но им позволили приблизиться к ним только на расстояние в несколько десятков метров. Чтобы дорога к Мексене не была усеяна трупами, власти решили создать в вилайете Алеппо такие поселения, в которых бы собирались умирающие из колонн. Им не

оказывали помощи, а только укладывали в палатки по пятнадцать-двадцать человек, и оставляли умирать. Их состояние было настолько плачевным, что у них не было даже сил поворачиваться с одного бока на другой или отмахиваться от роя мошек, которые покрывали им лицо. Они умирали в той позе, в какой их оставляли, зачастую с открытыми глазами, потому что их веки настолько сократились и усохли, что уже не могли прикрывать белизну глаз. Поэтому эти лагеря охранялись всего несколькими охранниками без оружия, но имевшими при себе дубинки и камни, чтобы отгонять собак, гиен и воронов, не проявляя, однако, при этом слишком большого рвения.

На смену радости, связанной с приближением к таким местам, которые, как им казалось, были приготовлены, чтобы они могли укрыться от яростной смеси ветра, дождя и снега, пришло недоумение, а потом и ужас, когда колонна была остановлена вблизи палаток, не получив разрешения к ним приближаться. У каждого из двух шатров колонну встретил отряд солдат во главе с капралом и человеком, одетым в черное, которого остальные называли *доктором эфенди*. Он приказал построить всех людей в шеренгу на расстоянии шага, чтобы они не могли опираться друг на друга. Некоторые сразу же падали, тем самым облегчая задачу *доктора эфенди*. Так как он пришел, чтобы позаботиться не о живых, а о мертвых. Чтобы не рисковать, и не оставлять столько мертвецов по дороге, тем более, что Алеппо был усеян консульствами, готовыми послать депеши в императорские дворы Европы, *доктор эфенди* велел относить в палатки находящихся при смерти людей, которых тут же схватывали, и добивать их там, если жизнь все еще оказывала в них какое-нибудь сопротивление. *Доктор эфенди* осматривал каждого, указывая пальцем на всякого, у кого была сыпь, чье тело уже пробирала дрожь, у кого были чересчур бледные щеки и глаза, утонувшие в глазницах, или краешки рта, покрытые зеленовато-красными наростами, говорившими о больных легких. В каждом из этих двух лагерей для умирающих колонна сократилась примерно на десятую часть. Из тех, кто вышел из Баба, больше трети до Мескене так и не дошло. Многие скончались в переходе между двумя лагерями для умирающих, тела остальных рассыпались по дороге, их плоть таяла вместе со снегом и стекала в ручейки, а кости перемалывались горными валунами.

В Мескене, на границе четвертого круга, конвои снова встречались с Евфратом, движущейся могилой для тысяч депортированных. На изгибе реки, за Мескене, собирались трупы с севера, те, которые воды еще не успели поглотить, а рыбы искромсать. С помощью крюков мертвые тела вытянули на берег. Поскольку земля была мерзлой, а трупов было слишком много, чтобы зарывать в ямы, было решено полить их нефтью и сжечь. Черный дым был виден из лагеря в Мескене, так что

депортированные, зная, почему дым такой густой, и почему костер настолько влажен, что не может гореть иначе, как тлея, и зная, что именно плывет по реке, несмотря все это подошли к берегу, приклонили колена и стали жадно пить воду с трупным привкусом.

Одни построили новые палатки, другие поселились в заброшенные. Как и всегда после появления новой колонны, число мертвых возросло, но потом вернулось к обычной цифре в пятьсот-шестьсот человек в день. Мороз ослабел, особенно днем, но оставался таким же лютым ночью. Дожди и снег прекратились и становились все реже по мере приближения к пустыне. Воздух тоже становился суше, от этого дыхание умирающих становилось все более свистящим.

Лагерь охраняли самым жестоким образом. Тех, кому удавалось пройти охрану, и кого вылавливали в поле недалеко от города, на несколько часов по самое горло погружали в холодные воды реки, а потом вытаскивали на берег и заставляли стоять на ветру. Если они выживали, их оправляли в палатки, где, дрожа и впадая в бред, они вскоре умирали.

Внезапно, мул согнулся в коленях и отказался от воды. Это было хорошее животное. Рубен долго и нежно гладил его по лбу, а потом несколько раз ударил камнем по тому месту, которое только что гладил. Дети его оплакали, но утерли слезы, когда почувствовали сладкий вкус мяса, которое не было волокнистым, как у подбитых воронов, или кислым, как у падали. Его им хватило на несколько дней, и они оправились. Им раздали и по горсти *булгура*. Подняв изумленные глаза в ответ на такую щедрость, они узнали ее причину от Киора Хусейна, того самого, который наказывал беглецов, погружая их в мерзлую воду: «Не хочу, чтобы вы здесь померли. У нас и так много проблем. Земля клейкая, копать трудно. Вы все равно умрете. Но убирайтесь отсюда прочь, и дотащитесь на своих ногах до пустыни. Там вами уже никто утруждаться не будет. Вас закопают ветер и пески».

Тогда они поняли, что те, кто получили на руки по чаше зерен, должны были идти дальше. Им позволили подойти к реке и напиться трупной воды, которая обрела, словно воды Иордана, вкус человеческой плоти. *Булгур* был временным лекарством для внутренностей, истощенных дизентерией. А вода раздувала проглоченные без пережевывания зерна, заставляя болезненнее чувствовать голод и вместе с тем насыщение. Потому что тело требовало больше воды, а желудок, сократившийся от недоедания, раздулся, готовый вот-вот разорвать свои стенки от работы впустую.

Саак похудел, его лодыжки были немногим толще рук. Мать взвешивала каждую крупицу того, что еще оставалось в мешочках с мукой и сахаром, купленных на вокзале

в Конье у торговцев, которые, зная, куда они направляются, и, накинув цену отчаяния, запросили с них в три раза дороже обычного.

Они ели вечером, чтобы можно было спать, потому что, как заметила Эрмине, голод тяжелее переносить ночью, когда тело больше времени остается наедине с самим собой. Поначалу она делила еду на всех, затем меньше оставляла им и больше давала детям. А в Мескене она уже ничего не давала старухе, которая, однажды вечером, осенив себя большим крестным знаменем, повернулась лицом к стене и умерла, свернувшись клубком. В таком же положении утром ее и погрузили на повозку с мертвыми, и также столкнули в яму. Поскольку мертвых никто не обмывал, никто над ними не бдел и не укладывал в гроб, сложив руки на груди, то и не было никакой надобности прикладывать к связкам смоченные теплой водой тряпки, чтобы вытянуть им согнутые руки или ноги. Для всего этого не было никаких условий, и даже если бы кто-то и потрудился размягчить замерзшие и сухие хрящи связок, все было бы зря, потому что в общих ямах трупы лежали не один возле другого, а были, скорее, свалены как попало. «Надо было подержать ее до полудня, сказала Эрмине. До тех пор ямы бы наполнились, и ее уложили бы немного выше...» Рубен так ничего и не ответил и ограничился лишь тем, что пожал плечами. Он больше не разговаривал, а только тряс плечами, и женщина уже и не знала, говорит ли он таким образом или просто разминает все более осунувшуюся спину.

Старуха выбрала подходящий момент для своей смерти. На другой день та часть лагеря, в которой они находились, была окружена солдатами, и их снова погнали в путь. После смерти мула старуха и так не смогла бы идти, и ее бы потащили к повозкам с умирающими, которых увозили обратно в Лале, где единственное, что было в избытке, так это рои мошек и терпение, с которым умирающим, уложенным рядом друг с другом, было позволено умирать.

ДИПСИ. КРУГ ПЯТЫЙ. От Мескене до Дипси было, как правило, всего пять часов пути. Однако колонне потребовалось больше двух дней. Ноги людей впервые ступили на песчаную поверхность, говорившей о близости пустыни.

Повозки, собиравшие мертвых и умирающих, больше за ними не ехали. Время от времени, могильщики, которые собирали мертвых, выжидали, пока ветер не поднимет песок, и не накроет кучи обнаженных и почерневших тел. В остальном, два дня пути прошли спокойно. Небо прояснилось, и ветер улегся. Большая часть лежавших на обочине трупов была разорвана животными. Среди них были умирающие, женщины и мужчины, истощенные усталостью, голодом или жаждой, дети, не понимавшие, что с

ними происходит, и ждавшие, прислонившись к камням или сухим пням, смерть. Стремление оставаться в сидячем положении, было их последним усилием противостоять смерти, потому что иначе, лежа на краю дороги, их занесло бы песком, и они бы задохнулись.

Лагерь, состоявший из нескольких тысяч палаток, был раскинут в долине на правом берегу Евфрата. Те, кто так его расположил, посчитали, что близлежащие холмы удержат стойкий запах смерти и острое зловоние дизентерии и тифа. Дорога между Мескене и Дипси была короче, чем между Бабом и Мескене, поэтому губернатор Алеппо больше не устраивал на перевалочных стоянках приютов для умирающих, которые он эвфемистично окрестил *Хастахане*, то есть больницами. Взамен, учитывая состояние истощения, в котором прибывали колонны после двух дней пути по песку, а потом и по узким горным тропкам, весь лагерь в Дипси назывался *Хастахане*. Он оправдывал свое имя, поскольку за несколько месяцев своего существования в качестве концентрационного лагеря, здесь скончалось более тридцати тысяч человек.

В этой так называемой больнице не было никаких лекарств, а медицинское обслуживание осуществлялось выжившими в депортации армянскими врачами, которые не могли ничего иного, кроме как назвать болезнь, когда она не была еще слишком явной, и подсчитать количество дней до смерти. Лагерь в Дипси был одной из самых глубоких ступеней посвящения в смерть, но не столько из-за большого количества тех, кто здесь скончался, сколько особенно из-за еще большего числа тех, кому, заразившись здесь, предстояло умереть позже, на пути в Дейр-эз-Зор, месте, где ниспало седьмое одеяние смерти.

Стоял уже март. Дожди прекратились. Временами, к вечеру или на заре, собиралась занавесь облаков. Весна должна была наступить для депортированных незаметно, они все меньше и со страхом смотрели вокруг себя, привлекаемые топотом коней или мушкетами и выкриками бедуинов. Поэтому они смотрели в основном себе под ноги. Так они и открыли для себя весну. В направлении Абухахара, Хамама, Себки и Дейр-эз-Зора, где деревья попадались все реже, весна наступала нежданно, когда прорастали пучки травы, вытягивавшие свои тонкие и длинные листики. Поначалу, не зная, как их есть, они раздирали свои десны в кровь острыми краями и захлебывались волокнистыми травинками. Потом самые смекалистые и терпеливые из них показали им мастерство поглощения травы. Листики нужно собрать в комок, посыпать сверху немного соли, которая увлажнит шарик травы. Его не следует жевать сразу же, нужно размягчить его в слюне, сколько сможешь собрать ее в сухом рту, и держать так несколько минут, до тех пор, пока проголодавшийся рот не превратит все это в нечто

вроде пасты, как в похлебке. Когда траву уже нельзя было отыскать, Рубен вырывал корни и промывал их в воде Евфрата. Он разрезал их на мелкие кусочки и, смоченные в воде, спустя несколько часов их можно было есть.

Дождь не шел, но небо было не ясным. Близость пустыни поднимала что-то наподобие дымки, которую разносимая ветром пыль удерживала в подвешенном состоянии. Собак и волков стало меньше, вместо них появились гиены. Их было тяжелее поймать, они двигались быстрее и были приспособлены к сухости пустыни. Их трупы невозможно было найти, потому что гиены, предчувствуя свой конец, пропадали в пустыне, там, откуда они и приходили. Оставались вороны, в которых было трудно попасть, так как в перламутровой дымке нельзя было ни отличить их от воздуха, через который птицы не пролетали, ни даже отличить белых ангелов от черных.

Когда из-за миазмов, а также из-за лошадей турецких солдат, которые паслись вокруг лагеря, травы стало совсем мало, Эрмине и Рубен, после душераздирающих раздумий, решили перевести Саака в число курьеров.

Оба моих деда – Карапет Восканян и Седрак Меликян – не пели в минуты своего одиночества песен депортации. И никто другой из стариков моего детства этого не делал. Стихи, которые мы читали, будучи детьми, вечерами, или песни, которые мы слушали, рассказывали скорее о фидаинах, сражавшихся в горах, чем о бойнях и депортациях. Колонны в молчании спускались по ступеням посвящения в смерть. Может, потому, что внутреннее страдание было слишком сильным, чтобы позволять чему-то вырываться наружу. Или поскольку они не верили, что после этого существует что-то еще.

Но, не выплескивая ничего наружу, депортированные писали для самих себя. Рукописи, оставшиеся в пространстве семи кругов смерти, писались по дорогам депортации, там, где только можно было найти кусок дерева, межевой столб, ствол с мягкой корой, стену. Долгое время, пока их не смыли дожди и не стерли ветра, армянские слова и буквы оставались написанными или вырезанными на дереве и камне. Те, кто проходили, оставляли сообщения для тех, кто шел сзади. А эти, если оставалось место, добавляли собственные слова. По депортационным лагерям ходили бумажные листочки, которые люди передавали друг другу. Боясь наказания, они не оставляли на них ни записей, ни дат. В этом не было необходимости. Реальность, за исключением снега, который превращался в слякоть, и грязи, которая становилась блуждающей пылью, оставалась неизменной.

Сообщения описывали каждый из кругов смерти. Те, кто посылали эти сообщения, были курьерами. Их выбирали из мальчишек, которые были подвижней, и

могли пробираться незаметно. А чтобы у них были силы быстро преодолевать расстояние, в дорогу им давалась провизия. Некоторые больше не возвращались, либо оттого, что оставались в шедших впереди колоннах, отчего их дорога к смерти становилась короче, либо их убивали в пути. Поэтому курьеры всегда были добровольцами и выбирали их среди сирот, так как мало кто из родителей решались таким образом расставаться со своими детьми. Того, кто принимал решения на этом конце колонны, звали Крикором Анкутом. Тот, кто отвечал на другом конце, в Дейр-эз-Зоре, был Левон Шашиан, до того самого момента, как после невообразимых пыток его убили.

Крикор Анкут оценивающе посмотрел на мальчишку, толкнул его, ударив ладонью в грудь, но Саак нашел силы удержаться и не упасть. Тогда мужчина решил, что парень подходит. Дорога до Дейр-эз-Зора заняла бы около шести дней, поскольку курьеры шли в основном ночью, а днем укрывались в береговых впадинах, туда и назад дорога продолжалась более двух недель. Сааку назвали имя того, кто в лагере депортированных в Ракке должен был обеспечить его провизией для перехода к Дейр-эз-Зору. Рубен и Эрмине стояли в стороне и смотрели, не зная, на пользу или на гибель будет их сыну то, на что они дали свое согласие. Кто-то остался караулить вход в палатку, другой принес сосуд с водой. Эрмине бережно промыла Сааку спину, потом, раскинув руки в стороны, мальчик лег лицом вниз. Крикор Анкут окунул перо в чернильницу и стал медленно писать на коже мальчика, покрыв спину до самого копчика большими, максимально стилизованными буквами, чтобы упростить знаки и поскорее закончить, и чтобы как можно меньше ранить парня, который без единого звука переносил царапины пера. Дело упрощало то, что кожа обтягивала кости. Некоторое время парень не двигался, чтобы дать краске просохнуть. Потом в чаше с водой они замешали землю, сделали тонкую жижу и покрыли ею его плечи. Так, намазанный землей, он был не намного грязнее, чем до того. Его спросили, умеет ли он плавать, мальчик ответил, что вырос на берегу Босфора. Потом, водя по земле пальцем, Крикор показал ему дорогу к Дейр-эз-Зору. «Иди ночью. Держись берега Евфрата, не отходи от него далеко. Если увидишь, что выхода нет, бросайся в воду и оставайся в ней, сколько сможешь, пока краска не смоется водой. Они не должны знать, что там написано. То же на обратном пути. Особенно на обратном пути».

На имя мальчика Эрмине получила провизию на дорогу. Отсыпала по горстке зерен пшеницы и риса для его младшей сестры, потом обняла, и он исчез в ночи. Они не попрощались. Видя вокруг себя столько смерти, и принимая ее как неизбежную реальность, они уже давно распрощались друг с другом.

Саак в точности выполнил все, что от него требовалось. Рассчитал еду, потерпел три дня, но в Ракке не остановился, боясь, что выйти оттуда уже не удастся. Добравшись до Дейр-эз-Зора, он разыскал Левона Шашиана. Тот стер грязь и прочитал послание Крикора Анкута, его снова омыли, чтобы набросать другие буквы, после чего спину покрыли тонким слоем земли, смешанной с золой. По возвращении, Крикор Анкут в первую очередь дал ему ковш воды и горсть *булгура*. Велел женщинам омыть мальчика и, принявшись читать, попросил оставить его одного. Собственной рукой он стер с плеч Саака запись, обнял его и сказал: «Не говори никому о том, что ты видел в Дейр-эз-Зоре. Большинство тебе не поверят, и это не принесет тебе никакой пользы. А тем, которые тебе все-таки поверят, это тоже не принесет никакой пользы. Возвращайся к своим родителям». Увидев его, Эрмине обняла его и заплакала, не столько от радости, что вновь чувствовала его рядом с ними, сколько от жалости.

В середине апреля лагерь в Дипси был ликвидирован и последние колонны пустились дальше вдоль линии Евфрата. Лагерь был окружен солдатами и жандармами на лошадях, которые налетели на палатки, били дубинками и кнутами, валили убежища и толкали людей к краю, где собирались колонны. Когда все те, кто мог держаться на ногах, и бежать в лошадином ритме, вышли из палаток, вынужденные оставить умирающих, был отдан знак трогаться. Почти после часа пути в направлении холмов, оглянувшись на лагерь-больницу в Дипси, они увидели столбы густого дыма. Палатки облили бензином и подожгли. Цвет и клубы дыма говорили им о том, что вместе с тканями палаток горели и человеческие тела, сухие или еще влажные, умирающие, все вместе.

РАККА. КРУГ ШЕСТОЙ. Дорога продолжалась больше недели. Днем стояла жара, а ночи были из ряда вон холодными. Люди, покачиваясь, шли все медленнее. Этим сбитым с толку рядам, безучастным к понуканиям и хлестанью кнутов наездников-надзирателей, уже хотя бы не угрожали атаки вооруженных банд, поскольку у них уже нечего было отбирать. Лишь на привалах подъезжали арабы и в обмен на мешочки пшеницы забирали девушек. Колонна держалась правого берега реки и, наконец, добралась до Себки, лагеря на противоположном берегу Ракки, откуда город выглядел как чудесный и запретный край. Воды Евфрата могли утолить депортированным жажду. Но было все меньше шансов найти что-нибудь из еды. Время от времени жандармы на скаку разбрасывали пакеты с продуктами, посланные иностранными консульствами или христианскими поселениями. Брошенные в кучу, они, как правило, рвались. Люди тянули пакеты с мукой или сахаром, а мелкие крупы

просачивались через ногти, разрывавшие обертку. Другая помощь, как, например, зерна нута или риса, была несъедобна по причине отсутствия зубов. Люди заглатывали их, не пережевывая, но желудок не был способен их переварить, потому что либо потерял это свойство, либо из-за дизентерии у него не было на это времени. Рубен больше не ходил на охоту, собак становилось все меньше, а волки ходили стаями. Было немало случаев, когда они нападали на тех, кто рылся на помойках, и тут же их загрызали. Вместе с остальными он ходил собирать мертвых. Участвовал в рытье общих ям, что было не трудно, так как уже не нужно было наваливаться лопатой на твердую или клейкую землю, а достаточно было убирать лопатой песок, словно двигая дюны с одного места на другое. И все-таки, работа эта была намного тяжелее, если учитывать, что ямы должны были быть намного глубже, иначе ветер сдувал бы холмы могил, перенося их с места на место, словно крышки, и оставляя мертвых непокрытыми.

У края общих могил никто не молился. В них в основном закапывали новых мертвецов. От колонн, уводимых в изолированные и легко осаждаемые места, чтобы можно было устраивать бойни, и от концентрационных лагерей до смерти через расстрел, голод, погружение в ледяную воду или сжигание умирающих заживо: все средства уничтожения армян по дорогам Анатолии – от Константинополя и до Дейр-эз-Зора и Мосула – позже были переняты нацистами для истребления евреев. Разница лишь в том, что в нацистских лагерях заключенные носили номера, и этот зловещий подсчет лишь усугубил ужас преступлений против еврейского народа. Количество людей, уничтоженных в результате действий по истреблению армянского народа, было не намного больше, если между преступлениями таких масштабов вообще можно делать какие-либо сравнения, но число не подсчитанных мертвых в данном случае было выше. Имена, которые нам известны, принадлежат в основном палачам, губернаторам, командующим лагерями, пашам, беям, агалам и чаушам. Имена жертв известны за редкими исключениями. Никогда еще смерть, круг за кругом сбрасывая с себя одеяния, не была ближе к своей сути, никогда еще смерть не была такой безымянной.

До сих пор еще не сложилась традиция устройства общих могил. Как следует рыть яму, как укладывать мертвецов, следует ли мужчин укладывать снизу, женщин посредине, а детей поверх, как их обмывать, во что одевать, какие молитвы следует читать священнику, и о каком покое на том свете он говорит, какой ставится крест, сколько перекладин он должен иметь, и что именно должно быть на нем написано. У каждой общей могилы свои законы, а единственной общей чертой всех общих могил

является спешка, с какой их рыли. Что исключает мысль об установленных традициях, поскольку нет традиции спешки.

Могилам дают имена и украшают, чтобы не были навсегда забыты те, кто в них погребен. Общие ямы были вырыты, чтобы о сброшенных туда мертвецах было забыто как можно скорее. Общие ямы являются самой виновной частью истории.

Из глубины неназванной смерти мы обрисовали семь кругов с центром в Дейр-эз-Зоре. В покрываемом ими пространстве, самая широкая окружность которого проходила через Мамуру, Диарбекир и Мосул, умерло тогда миллион человек, около двух третей от общего числа умерших во время геноцида армян. Мы знаем, что они там были, и что из тех, кто вступил в пределы кругов смерти, из тех, кто не принял ислам, кого не продали в рабство или не отдали в гаремы, не выжил никто. Любой мог умереть в любом месте. На этом свете нет ни одной армянской семьи, в которой кто-нибудь не пропал бы, словно в водовороте, в кругах смерти. Поэтому у края каждой общей ямы можно молиться с мыслью о том, что там находится кто-то, кто был частью твоей семьи.

Рубен знал, что делает доброе дело. Смерть была спасением от унижительного положения для живых, а общие ямы были спасением от неловкого положения для мертвых. Но была еще одна причина, по которой Крикор Анкут вместе со здоровыми мужчинами решил поспешить с выносом мертвых из палаток и рыть общие ямы. За несколько дней до того, из под палатки, в которой жила многочисленная семья, они выкопали мертвеца без лица. Они долго смотрели на труп с изъеденными щеками, казалось, что их изгрызли крысы. Но в лагере не было тайников, так что не было и крыс. Они всё поняли, но не проронили ни слова, и не дали клятвы молчания, почувствовав, что никто не сможет рассказать о чем-то настолько ужасном. Когда подобных знаков стало больше, мужчины решили обходить палатки каждое утро и вечер, чтобы ни один труп не оставался в них надолго.

Из Алеппо в Ракку и Себку были посланы новые гарнизоны. Солдаты и жандармы держались поодаль. Охранять лагерь было нетрудно. Его северный край упирался в берег реки, а переплыть Евфрат было тяжело даже здоровому мужчине. Налево и направо тянулись поля, в которых невозможно было скрыться, а с южной стороны была пустыня. И в самом деле, за исключением малолетних курьеров, бежать удалось немногим: затерявшись в пестрой толпе ярмарок в Ракке, они уходили по пути противоположному движению колонн, к Бабу и Мамуре, или на север, в Урфу.

Но солдаты охраняли не только людей. Они охраняли и животных, и даже птиц. Жители Ракки и племена бедуинов жутко боялись эпидемий, которые свирепствовали в

колоннах депортированных. Поэтому губернатор Алеппо запретил приближение к лагерю могильщиков, которые не входили в состав колонны, а повозки, отправленные в лагерь, были оставлены на усмотрение депортированных. И, наконец, если до того момента депортированные сами не убили и не съели лошадей, то животных пристреливали, чтобы те не были разносчиками какой-нибудь болезни, которая, не встретив на пути никакого сопротивления, ожесточалась и становилась неизлечимой.

В своих новых униформах, солдаты, которые стояли и наблюдали за палатками, наводя блеск на свои сапоги, расчесывая своих лошадей или прочищая свое оружие, выглядели так, будто были готовы выйти на парад. Лиц депортированных видно не было, либо потому, что они были далеко, либо потому, что, приближаясь, чтобы подкинуть им помощь, они проносились на всем скаку, либо потому, что это все равно не имело никакого значения.

Впрочем, это чувство было взаимным. Для депортированных солдаты были на одно лицо, а для солдат заключенные были вообще лишены облика и даже человеческих свойств, пока у них был приказ безжалостно целиться в любого, кто попытается выйти за рамки шестого круга, будь то человек, животное или птица.

В то время как депортированные, после долгих месяцев усталости и голода, чувствовали себя все истощеннее, солдаты все больше отдыхали, так как охранять депортированных становилось легче, а привалы делались чаще. Но еще более разительным это несоответствие было потому, что по мере того, как депортированные становились нагими и оборванными, униформы солдат обновлялись, сияли все большим блеском, а их кони становились все более наряженными.

Мужчинам удалось организовать свою работу таким образом, чтобы вывозить мертвых как можно быстрее. После прибытия новой колонны из Абухахара и Хамама тут же последовало расширение сети сбора мертвых. Они начали работать в ритме смерти. Однако этот факт привел к тяжелым последствиям, потому что смерть, почувствовав, что над ней одерживают верх, участила свой ритм. С другой же стороны, он заставил солдат задуматься над тем, что в лагере Себки люди начали подчиняться не только законам смерти, а тот, у кого хватает духа оказать сопротивление смерти, сможет оказать сопротивление любому в этом мире. Тогда они поторопили колонны к Дейр-эз-Зору, чтобы дезорганизовать их. А лагерь в Себке восстановил группы собирателей мертвых; они восстанавливались в основном из страха, но не страха смерти, а страха перед самими собой.

Эту силу самоорганизации, настолько необычную для лагеря людей, одетых в лохмотья и почти что мертвых, можно было терпеть только в Себке, где было лишь

несколько тысяч палаток, но она могла стать опасной в Дейр-эз-Зоре, в сердце седьмого круга, где были десятки тысяч депортированных.

Поэтому, однажды утром, командующий отдал распоряжение, чтобы все мужчины от пятнадцати до шестидесяти лет собрались на краю лагеря. Их должны были отправить рыть траншеи. За это они, разумеется, получают еду и питьевую воду. Они вышли из палаток и некоторые подумали, что, раз уж их посылают на работы, значит, в них есть необходимость и, как следствие, их пощадят. Другие вышли несколько неуверенно, и лишь после того, как гонцы пригрозились вытащить их из палаток, не слезая с лошади. А другие, подобно Рубену, присоединились с равнодушием. С тех пор, как он стал охотником на ангелов, не обращая особого внимания на их цвет, а на волокнистое мясо под их перьями, Рубена охватила душевная пустота, он жил только для того, чтобы защищать детей. Именно поэтому, когда Саак пустился за ним, посчитав, что в свои четырнадцать лет может быть принят в ряды мужчин, Рубен остановил его и огрел парой пощечин, которые привели парня в замешательство, но укротили в нем пыл.

Другие же упрямо пытались спрятаться. Наподобие мужа женщины из соседней палатки, с которыми они сдружились. Вместе те были одним целым и именно поэтому каждый из них, мужчина и женщина, мог принимать внешность другого. Статная, с узкими бедрами и небольшой грудью, женщина, одетая в мужскую одежду, не привлекала внимания солдат при построении колонны и скрывалась от тех, кто искал женщин. А мужчина, стройный, со щеками без пушка, с проросшими от дикости волосами, переоделся в женщину, с замиранием сердца ожидая проверки палаток. Но этого не произошло. В момент, когда мужчин построили, посчитав пятьсот человек вполне удовлетворительным числом, был отдан приказ об отбытии.

В любом случае, мужская часть колонн стала меньше. Во время перехода к Дейр-эз-Зору мужчины были основной целью вооруженных атак. В некоторых местах, чтобы не ошибиться, колонны с самого начала делились на мужчин и женщин. Мужчин по дороге убивали из засад, устраиваемых вооруженными бандами или самими солдатами, поставленными их охранять. Поэтому большая часть колонн состояла из женщин, детей и стариков, последние из которых почти полностью погибли из-за неспособности идти вровень с остальными до Себки. Некоторые колонны, особенно те, что шли с запада, прошли до сих пор более одной тысячи километров.

Две пары пощечин, данные не от злости, а от отчаяния, стали последним воспоминанием Саака о своем отце, Рубене Шейтаняне. Мужчин повели на юг, к

сирийской пустыне, и расстреляли. А всепобеждающая смерть вернулась, раскинувшись, словно зеленый шелк, накрывший собою лагерь.

Когда колонна, в которую вошли Эрмине и ее двое детей, а также двое влюбленных, тронулась в путь, весна походила к концу. Воды Евфрата унялись и прояснились. Поскольку вилайеты, располагавшиеся вдоль двух истоков Евфрата, были уже очищены от армян, трупы в реке стали попадаться реже, а вместо тех, что были объедены рыбами, проглочены водоворотами или приставали к берегам, другие уже не появлялись. Как и всякая могила, Евфрат закрылся и вновь дал место жизни.

Возможно, если бы дорога от Мескене до Дейр-эз-Зора пролегала бы где-нибудь в другом месте, депортированные давно бы уже погибли от жажды, особенно с наступлением жары. Но река, которая столько времени смешивала мертвую воду с живой, несла теперь осветленные волны. И такой она оставалась всю дорогу до Дейр-эз-Зора, где Евфрат оставил колонны на произвол судьбы, спускаясь навстречу с Тигром.

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР. ПОСЛЕДНИЙ КРУГ. Колонна, скорее, состояла из неясных фигур. Они казались легкими при порывах ветра, стаяй падающих птиц, а не вереницей людей. Фотографии, сделанные иностранными путешественниками, которым удалось приблизиться к колоннам или сфотографировать позади тех, кто без сил лежал у обочины, ожидая смерти, показывают на пути в Дейр-эз-Зор в основном детей. Дорога к седьмому кругу была своеобразным крестовым походом детей. Разделившим судьбу всех невооруженных крестовых походов. Дети на фотографиях напоминали скелеты, их туловища были ослаблены, брюхо впалым, кости, словно стальные дуги, огибали впадину живота, руки и ноги истончились, словно ветки, головы были непропорционально большими, как и глазные впадины, глазные яблоки которых выходили из орбит или проваливались вглубь головы. Выражение их лиц свидетельствует лишь об умопомрачении, они смотрят так, словно пребывают в других сферах, не протягивают рук, ничего не просят. В их глазах нет ненависти, они слишком мало прожили, чтобы понимать и осуждать. Нет в них и мольбы, потому что они забыли, что такое голод, нет грусти, потому что они не знали радостей детства, нет забвения, потому что у них не было воспоминаний. В их глазах не было ничего. Ничто, приоткрытое окошко в иные сферы.

Недуг какой-либо женщины обрекал на смерть и ее ребенка. Чаще всего он оставался у изголовья матери, вместе с ней дожидаясь смерти. Эрмине с ужасом заметила тифозное покраснение на щеках девочки. Очень скоро, из-за жары, красные

пятна разрослись. Эрмине шла вперед, обнимая девочку за плечи и заливаясь слезами. Саак хотел ей помочь, но мать не позволила ему приблизиться, чтобы уберечь его от болезни. Даже она больше к нему не прикасалась, лишь осматривала его взглядом, во время сна, ища с замиранием сердца признаки болезни. Иногда она с ужасом думала, что обнаружила их. В другой раз она с облегчением вздыхала, на нем были лишь пятна пыли, которые, смешавшись с потом, принимали цвет высохшей крови. Она удержалась, чтобы не обнять его спящим, лишь погладила дочку, не беспокоясь о собственном здоровье, она делала это даже нарочно, потому что мысль оставить девочку одну на том свете приводила Эрмине в трепет, а потому, не зная как ребенку помочь, она молилась о том, чтобы умереть вместе с ней.

Дорога от Себки до Дейр-эз-Зора была самой длинной и самой чудовищной из всех. Почти сто километров пути. Поскольку жара начинала одолевать и ехавших верхом солдат, клевавших носом в седле рядом с колоннами, которые тащились на обожженных песком ступнях, было решено идти ночью, а днем они усаживались на берегу, там, где со стороны реки веяло прохладой. Немногие из оставшихся мужчин сооружали палатки, чтобы укрыться от уничтожающего зноя. Некоторые сходили с ума во время сна: они дрожали, метались, и их нужно было сильно ударять, чтобы те проснулись и не задохнулись во сне. Другие теряли рассудок, бодрствуя, и пускались в другом направлении, но их путь заканчивался довольно скоро, поскольку, потеряв навык самосохранения, они падали, сраженные пулями.

Это были колонны без теней. Днем, растянувшись на земле, они не отбрасывали тени или, там, где был хотя бы клочок тени, они укутывались в него как в одеяло. Тени прилипали, словно пот к телу. Ночью, передвигаясь нетвердым шагом, спотыкаясь о камни или падая в ямы на обочине, они становились собственными тенями. Колонны были настолько ослабленными, что им уже не хватало сил отбрасывать тень и тащить ее за собой, словно невод. Колоннам без тени понадобилось почти две недели, чтобы добраться от Себки до Дейр-эз-Зора.

Лагерь находился на правом берегу Евфрата. На этот раз палатки насчитывались десятками тысяч. Дейр-эз-Зор был последним центром, к востоку, где еще организовывались подобные лагеря. Обратного пути в этот мир из Дейр-эз-Зора больше не было.

Поэтому депортированным больше не давали еды. Поскольку растительность здесь была редкой, а мужчин, которые могли бы убивать живность пустыни, привлеченную трупами, стало меньше, голод стал невыносимым. Тела были настолько ослабленными, что болезни распространялись еще медленнее, потому что в

организмах не было ни капельки влаги, чтобы их переносить. У больных тифом уже не было жара, потому что у них не вырабатывались антитела. Перед лицом голода остальные болезни отступили в сторону, позволяя ему кусать за живот, стягивать кожу с костей и иссушать внутренности.

Инциденты случались все реже. После того как руководство лагеря раскрыло группу во главе с Левонем Шашианом, который организовал не только живые дневники, передававшиеся на коже сирот из одного лагеря в другой, но и систему по снабжению лекарствами и едой, в пределах возможного, и, по той же системе, как и в лагере Себки, команды, которые успевали зарывать трупы в ритме смерти, после того как, стало быть, все это было раскрыто, Левон Шашиан был выведен из лагеря и зверски убит лично начальником лагеря Зеки-пашой. Была подавлена любая форма внутренней организации лагеря и таким образом, по мнению солдат, исчезла всякая опасность бунта, а лагерь впал в летаргию. Страх армии перед бунтом казался, вероятно, неоправданным, поскольку солдаты были хорошо оснащены, их отдых граничил со скукой, они были вооружены до зубов, а депортированные все больше походили на живые скелеты, их одежда все больше превращалась в лохмотья, а опьянение смертью делало их движения все более неуверенными. Но солдаты на самом деле испытывали страх, равно как и власти Алеппо и Дейр-эз-Зора. Солдаты были обучены воевать с другими солдатами, а их оружие было сработано так, чтобы наводить ужас на врагов, которые боятся смерти. Пока что не изобрели оружия, которое вселяло бы страх в тех, кто ничего не боится. Обессиленные и разбитые голодом, депортированные не осознавали, что смирение с мыслью о смерти как раз таки и было их устрашающей силой. Хотя эта сила отсутствия страха смерти росла с каждым новым кругом, путь через все семь кругов смерти не был дорогой бунта. Дорога колонн означала, скорее, ожидание смерти. Смерть, блуждая по лагерю, стала одной из них, она превратилась в одну из жертв кругов Дейр-эз-Зора.

А наружу она прорывалась подобно глухому рокоту. Один немецкий путешественник, которому удалось рассмотреть депортированных в Дейр-эз-Зоре вблизи, был глубоко потрясен не столько очевидными фактами, которые показаны на фотографиях во всем их ужасе, сколько одной деталью – в том страшном месте он не увидел плачущих людей. Или, лучше сказать, он не увидел того, что обычно понимают под человеком, который плачет, то есть, он не видел слез.

Но было неправдой, что люди не плакали. Они плакали иначе. Те, у кого еще были силы сидеть, покачивались, другие плакали, смотря широко открытыми глазами в небо. Но их плач был подобен непрерывному стону, который издавался низким

голосом, и который, повторенный тысячами душ, звучал унисоном. Плач был не мокрым следом на щеках, а звуком. Поскольку эта втора, без конца изливаясь и подлаживаясь под окружающий мир, стала звучать подобно завыванию ветра среди дюн или течению вод в Евфрате, плач не прекращался ни на одно мгновение до тех пор, пока последние колонны Дейр-эз-Зора не достигли равнин, где депортированные были убиты. Этот сухой плач заменял и молитву, и проклятье, и молчанье, и исповедь, а некоторым он заменял сон. Некоторые засыпали, плача таким способом, другие, плача, умирали, и плач еще дрожал в застывшей груди, словно в органной трубе. Я слышал этот плач, когда дедушка Седрак качался в шезлонге в саду и бормотал, или когда дедушка Карапет закрывался в своей комнате и переставал играть на скрипке.

Поначалу стонущий плач раздражал солдат, поскольку, повторенный водами и ветром, он, казалось, шел отовсюду. Потом они привыкли, втор оказался надежнее любого часового, потому что пока он изливался ровным потоком, можно было быть уверенным, что не происходит ничего необычного. Он бы прекратился, если бы люди занялись чем-то другим, а не продолжали бы умирать или оплакивать мертвых. Он бы прекратился, говорили солдаты, если бы депортированные взбунтовались или если бы они все умерли. Но депортированные, помимо случаев помешательства, которые чаще всего оканчивались выстрелом в грудь на километры вокруг, не бунтовали. Они не умирали так быстро, поскольку, как кажется, столько времени пребывая среди депортированных, смерть начала их любить. Несмотря на то, что лагеря были уничтожены через несколько месяцев, а почти все депортированные были за это время убиты, втор в Дейр-эз-Зоре не прекратился.

Но тогда, прислушиваясь к этому гулу, который прокладывал себе русло намного шире самого Евфрата, турецкие солдаты не проявляли большой обеспокоенности по поводу охраны лагеря в Дейр-эз-Зоре. С юга и с востока в охране не было необходимости, поскольку там была пустыня. У любого, кто попытался бы убежать в этом направлении, не было шансов выжить. И Евфрат, который граничил с лагерем, тоже не давал никакой надежды.

На какое-то время Дейр-эз-Зор стал конечным пунктом назначения всех конвоев, а власти еще не знали, что делать дальше. Вероятно, они надеялись, что в пути колонны понемногу сократятся, так что в Дейр-эз-Зоре будет что-то наподобие лазарета, где те, кто все-таки туда доберутся, скоро испустят душу, наподобие Хастаханов, которые были в Тефридже и Лале. Вопреки возможностям умереть, которые были предоставлены им в избытке, несколько сот тысяч депортированных упрямо продолжали жить. Или, скорее, они попросту забыли умереть. Все больше

людей скапливалось в лагере, которым все труднее становилось управлять, и не столько по причине людей, а из-за того, что на них обрушивалось, или что они с собой несли, а именно болезни и зловоние. А поскольку власти, находящиеся в столице Империи, желали быстрого и окончательного разрешения армянского вопроса, Дейр-эз-Зор из конечного места назначения превратился в перевалочный пункт. Но речь шла не о переходе из одного лагеря в другой лагерь, а из одного мира в другой.

Из всех страданий сильнее болезни или боли оказался голод. Оставшись без всякого источника продовольствия, отданный на волю случайно найденной еды, от травы, терпких плодов или дикого меда до падали, лагерь в Дейр-эз-Зоре был охвачен галлюцинациями. Скелетоподобные тела неуверенным шагом шли к Евфрату напиться, потом садились, погружали лицо в зной, покачиваясь и издавая стоны, будто питаясь светом, словно растения. Некоторые, не видя смысла ни в чем ином и ни в каком другом чувстве, кроме голода, совали в рот все, что попадалось им под руку, грызли древесную кору, тряпки, пропитанные соленым вкусом пота или фекалии, которые по причине голодания были твердыми и небольшими, как у коз. После убийства Левона Шашиана и тех, кто, работая на общих могилах, пытались защитить мертвых, трупы вновь стали задерживаться под палатками. Снова появились мертвые без лица, без одной руки или ноги. Те, кто, раз в несколько дней, обходили палатки, чтобы вынести разорванные или разложившиеся тела, больше не вздрагивали. Некоторые занимались этим намеренно, превратившись из охотников на ворон или гиен в охотников на мертвецов. Поэтому те, кто оставались в палатках, внимательно к ним присматривались и своего мертвого доверяли не всякому.

Но даже и тогда сделать это было не так легко. Становилось все труднее отличать мертвых от живых. Живые часами лежали неподвижно и зачастую засыпали с открытыми глазами, теряя зрение из-за жары, выжигавшей им глаза. А мертвые иногда вздрагивали из-за больших перепадов ночной и дневной температур, когда связки размягчались на солнце или, наоборот, сокращались вместе с ночным морозом. Так что их начали собирать, как придется, а некоторые даже вылезали из ямы, проснувшись от вскрика, изданного при закидывании на остальных.

Когда был подан знак, колонны стали собирать снова. Часть была направлена на восток, к Марату и Сувару. Другие пошли на запад, взяв путь на Дамаск. В обоих направлениях развязка была одинаковой. Достигнув равнины, которую авангард считал подходящей, солдаты отходили, потом окружали колонны и палили во все стороны из мушкетов. Когда на ногах уже никого не оставалось, они надевали штыки на ствол ружей, доставали ятаганы и проходились по трупам, рубя их на куски, чтобы то, куда не

попала пуля, было довершено лезвием. Колонны насчитывали от трехсот до пятисот душ. Их судьба каждый раз была той же, с той разницей, что иногда солдаты оставляли расправу бедуинам, довольствуясь лишь тем, что по завершении удостоверяться в качестве проделанной работы.

Держа дочку на руках, Эрмине ждала смерти. Девочку все чаще бросало в жар, ночью Эрмине ложилась поверх нее, чтобы согреть. Сааку удалось раздобыть горсть зеленых фиников, однажды даже гранат, выпавший из-под седла одного из солдат. Они ели кисло-сладкие косточки по одной, долго держа их под языком. В соседней палатке влюбленные мучились от голода, не способные найти себе еду, поскольку женщина ни за что не позволяла мужчине покидать укрытие, боясь, что солдаты его заметят и убьют. Казалось, они питались друг другом и, будучи прикованы друг к другу, выжили. До того момента, когда, однажды вечером, с наступлением холодов, они выпустили друг друга из объятий и поднялись. Они сняли с себя одежду, и женщина протянула их Эрмине. «Укрой ими ребенка, сказала она. Она дрожит от холода». Они были совершенно нагие. Эрмине посмотрела на них с невыразимым изумлением, но не из-за их голого вида, который, как и все, что могло произойти с телом, не было в лагере чем-то необычным. Они были необыкновенно красивы. В их глазах горел необычный свет, их волосы разгладились и сияли вокруг лба, плоть была душераздирающей белизны, ее бедра выгнулись дугой, грудь округлилась, а его мышцы свернулись и напряглись вокруг костей. Капли света собрались у них на плечах, и тени вокруг них не было. «Мы пришли попрощаться», сказал он, но, казалось, его губы даже не пошевелились. Потом он взял жену за руку, и они стали отдаляться, долгое время они не спускали глаз с их силуэтов, может, также благодаря контуру света, который окаймлял их тела. Они были такими светлыми и безучастными, и будто парили над песком, Эрмине и Саак напрягли слух, ожидая услышать выстрелы. Но ничего не произошло, ни даже после того, как воцарилась темнота, покрыв собою глину и воск их тел. Остался лишь неуловимый запах, будто от дыма, от потухших угольков смирны и амбры. «Спаслись», прошептала Эрмине. «Пойду, позову их обратно, сказал Саак. Там пустыня, они погибнут. Никто не выжил среди песков». Эрмине дала ему знак сесть и подошла к нему. «Оставь их... Они красивы, и без греха. Я вот все думаю, что Рубен прав». Она говорила о своем муже в настоящем времени, как о ком-то, кто ушел далеко, но вернется, хотя в тот момент Рубен был уже мертв вместе с колонной мужчин в Себке. «Рубен прав. Бог умер. Пусть они идут дальше. Здесь, где ты видел их в последний раз, на краю лагеря в Дейр-эз-Зоре, проходит граница Эдемского сада. Это врата рая, всего в двух шагах. Мы пришли туда, откуда ушли в начале всех начал.

Но за прошедшее время мир совершенно испортился. Может, они создадут мир заново, и сотворят другого Бога».

Саак посмотрел в темноту, где соединенные тела мужчины и женщины вспыхнули еще раз перед его взором, а потом потухли. И тут же лба мальчика коснулось свежее и шуршащее дуновение. словно на пути тех двоих пески разошлись в стороны, высвободив из под земли множество приятных глазу деревьев. Два рукава намного большей реки соединялись перед ними: это были Тигр и Евфрат. А человек, идя в сад, омытый теми водами, оставил позади себя свой род, своего отца и мать, и прилепился к жене своей и стали они одной плотью.

Но здесь, среди людей, по мере того, как колонны, каждый раз по несколько сотен человек, отводились на равнины, превращенные в места казни, к Сувару или к Дамаску, другие колонны прибывали с запада, спускаясь в последний круг смерти. В тот июль 1916 года массы людей расходились и сходились, и вопреки этому движению туда-сюда лагерь в Дейр-эз-Зоре оставался равным самому себе, словно неподвижным. Прилегающая местность наполнилась костями. Последний рубеж был пройден. Живые отдавали себя в распоряжение мертвым, сделав погребение своим единственным занятием. Мертвые отдавали себя в распоряжение живым, согревая их, словно одежды, в морозные ночи, и служа тем, кого голод свел с ума, причащением.

Эрмине смотрела блуждающим взглядом на свою дочь. Летний зной, вытягивавший из тел капли воды, еще удерживавшей в них соли, начинал, иссушая, убивать людей. Живые и мертвые, которые уподоблялись друг другу благодаря неподвижности и возникавшим время от времени чертам, начали теперь походить друг на друга своим темным, сухим цветом щек.

Учитывая ритм, с которым казни следовали одна за другой, концентрационный лагерь должен был быть закрыт осенью того же года. Даже в отсутствие казней, в условиях заключения в Дейр-эз-Зоре никто не смог бы выжить до зимы. В то лето умирали в основном дети. Многие без погребения оставались среди палаток, словно пустые, скорчившиеся и почерневшие каркасы. Эрмине с нетерпением ждала, когда соберется колонна, надеясь, не зная на что, но всем сердцем желая уйти из того места. С открытыми, неподвижными глазами, ребенок время от времени шептал: «Я хочу есть!». Когда ее стон стал непрерывным, жалобным во время выдоха и свистящим, когда она втягивала воздух в грудь, Эрмине пошла по палаткам. Через час она вернулась с пустыми руками. «Они тебе ничего не дали, правда?», спросила девочка потухшим голосом. Она кивнула головой, смотря на нее пустым взглядом. «И ты им потом от меня не давай...», грустно улыбнулся ребенок. Эрмине поднесла руку

ко рту, настолько потрясенная, что забыла отогнать сына, когда тот подошел ее успокоить. Она странно на него посмотрела, потом схватила его за запястье. «Пойдем!», сказала она изменившимся голосом. Она потянула его из палатки, на окраину, вверх по течению, куда арабы приводили своих животных на водопой. Она стояла рядом со своим сыном, на берегу реки, молясь, чтобы все прошло как можно скорее.

Подошедший к ним араб, посмотрел на них без добродушия, но с любопытством, особенно на мальчика. Так как Эрмине и мальчик говорили по-турецки, они могли бы договориться при помощи общих слов, которые Магомед оставил на широтах своей веры. Но в этом не было необходимости, потому что они хорошо знали, о чем речь. Эта ситуация тысячи раз повторялась во время пути колонн или на окраинах лагерей. И, чтобы все было понятным, Эрмине высвободила руку Саака и толкнула его на один шаг вперед, держа ладонь на его плече, чтобы мальчик не подорвал вдруг назад. Вопреки слабости Саака, болезнь, на первый взгляд, обошла его стороной, и араб, вместо согласия, достал мешочек муки и протянул его женщине. Она схватила его обеими руками и тогда, почувствовав свободу, Саак хотел было убежать. Но араб схватил его за талию и за затылок и забросил на лошадь, словно перекидной груз. Вскочил ему на спину и, издав пронзительный крик, понесся галопом. Эрмине долгое время неподвижно стояла на одном месте. Сунула руку в мешочек и достала горсть порошка, которым набила рот, заглушая свой крик.

Некоторое время мальчик лежал в другой палатке, намного большей, украшенной коврами и висевшими на стенах непонятными надписями, где жили люди, говорившие на хриплом и резком языке, которые смотрели на него с равнодушием, но которые по очереди приносили ему еду, вытирали со лба пот и меняли подстилку. Когда он окреп настолько, что мог путешествовать, его посадили на коня и отвезли в пустынную местность, где единственным занятием, если они не выслеживали караваны, было поддержание по ночам огня, в котором шипел верблюжий жир, а днем – поиски воды. Из тех дней Саак определенно мог вспомнить только жалобные молитвы мужчин и белые одежды, которые он получил, одежды, которые струями крови окропила острая боль разорванного члена, хотя он при этом не понимал, почему эта новая и мужская боль вызывает улыбку и удовлетворение на лицах остальных. Вместе с новой и окровавленной одеждой он получил новое имя Юсуфа, без того, чтобы кто-нибудь спросил о его старом имени. Но это было ему на пользу, потому что, когда его потом стали искать, добравшись до Урфы и Диарбекира, его так и не нашли, не зная кого спрашивать.

Юсуф стал достойным парнем. Он научился держать верблюдов за узду и охранять их на водопое. Он освоил мастерство наездника, свyksя с сухой едой и научился терпению перед лицом песчаных просторов. Он получил мужскую одежду, у него был свой конь, единственное создание, с которым он мог говорить по-армянски, и он скорчивался вместе с остальными на рассвете, на закате и в полдень, бормоча что-то напоминающее молитву. Он мог бы остаться добрым всадником пустынь, с его телом, закаленным в кругах смерти, с длинными ресницами, защищавшими его глаза от песков, со смуглым лицом, готовым выдержать натиск ветров, и с черными, кучерявыми волосами, хорошей защитой во время жары. Незнание арабского было ему на пользу. Никто не приставал к нему с вопросами и ему не нужно было рассказывать о себе. Ему не нужно было молиться пророку, который явился ему, пролив его кровь, сохраняя в себе другого, который явился, сам истекая кровью.

Он мог бы быть добрым всадником тех широт и в один день стать предводителем своего племени. Зимой он спускался бы к побережью Красного Моря, почти до Медины, и хотя бы раз в жизни до самой Мекки, потом, через Иерусалим и Дамаск, он поднялся бы к местам, которые он так хорошо знал, и даже выше, к горам, к Рас-эль-Айну и Мосулу. Но Юсуф оставался в одиночестве, а остальные, довольные его усердием, оставляли его в покое и не встречали в непонятный разговор, которые тот вел со своим конем.

Юсуф провел ту часть жизни в полном недоумении. Однако ясность пришла к нему неожиданно, как это случается всякий раз, когда на вопросы нет точных ответов. Добралась до Мосула. Был пригожий день. Они продали козью брынзу и верблюжьи шкуры. В палатке было тепло и тихо, пахло вертелом, но, прежде чем усесться на подушки вокруг огня, они сосчитали связанные в мешочки золотые монеты. Потом женщины стали восторгаться подаркам – янтарю, тканям и украшениям. А самое красивое украшение хозяин палатки зажал в руке и подарил, по волшебному раскрыв пальцы, самой молодой из своих жен. Она повесила его на шею и закружилась на радостях, танцуя вокруг огня под острые звуки *зурны* и в ритме барабанов с колокольчиками. Огонь искрился и шипел от капель жира, лица светились и удлинялись вместе с языками пламени, ритм барабанов слился с хлопками ладоней, и женщина кружилась, уносимая своей молодостью и радостью украшения. Которое парень увидел рядом с собой, когда она приблизилась, покачивая бедрами, водая плечами и встряхивая грудь. Талисман, висевший на золотой цепочке, с гордостью выставленный напоказ, напомнил мальчику застенчивый жест мамы, прятанный под одежду. Никто не заметил, когда он выбрался из палатки. Единственное, что он мог

сделать, охваченный расстроеными мыслями, это бежать, не разбирая дороги. Он сам не знал, от кого бежал, он бежал до тех пор, пока у него не перехватило дыхание, и он не упал на колени. И, чувствуя необходимость покинуть собственное тело, вырваться из него, он начал кричать. Он сел на песок и, качаясь из стороны в сторону, кричал изо всех сил. Когда крик замер, уступив место стону из Дейр-эз-Зора, сухому плачу, Юсуф умер. Он был несчастным, чужим, молчаливым существом, затерявшимся в местах, которые были ему неизвестны, и среди Богов, в которых он не верил. Рожденный в кровотечении и убитый криком. Не так, как бывает, когда одно тело убивает другое, снаружи проникая вовнутрь, Юсуф умер, будучи пробит изнутри наружу тем самым телом, которое он покрыл, словно белая и окровавленная туника.

Сбросив новое одеяние, оставив Юсуфа лежать у его ног, словно ненужную одежду, Саак вернулся к шатрам. На этот раз, больше не приходясь племени сыном, он пришел окольными путями, прячась в темноте, обходя огни и пролеты между палатками. Он пошел к месту, где стояли животные, и тихо вывел коня. Их поступь по песку была бесшумной, конь шел за ним, не чувствуя никакой перемены, прислушиваясь и принюхиваясь к нему, потому что для него Юсуфа никогда не существовало. Потом послышался галоп, но тогда конь и всадник были уже далеко.

Он пустился на запад, в направлении противоположном тому, в котором шли колонны, но, к сожалению, возвращение по кругам смерти, от Пасхи мертвых к Пасхе воскресения, не означало и возврата во времени. Напротив, поднимаясь по ступеням из глубины, в которую он провалился, словно в колодец, он не нашел ничего кроме следов колонн, кроме выживших, просивших милостыню у обочины дорог, кроме новых и устрашающих названий, данных пропастям, которые перемалывали своими глыбами кости, детей из его рода, одетых в шаровары, в груди которых, словно в логовах, выросли Юсуфы. Много раз он хотел вернуться в палатку, убить того араба на глазах его жен и детей, и отобрать талисман своей матери. Потом он сказал себе, что араб не несет никакой вины, тот, кто сорвал цепочку с шеи его мамы, находился в другом месте, и ему пришлось бы начать слишком большую войну, чтобы его найти или убить всех ему подобных, и быть уверенным, что убийца его матери понес свое наказание. Араб, в конечном итоге, оказался его благодетелем, и он не был виноват в том, что времена настолько обесценили человеческое существо, что бедуин предложил за жизнь мальчика всего лишь мешочек муки.

В Рас-эль-Айне Сааку опять повстречалась железная дорога, которую он оставил два года назад в Мамуре, выходя из вагонов для скота с вздувшимся и покрасневшим от нехватки воздуха и воды лицом. Он продал коня и, устроившись в

углу вагона, за один день и одну ночь доехал до Измита. На обратном пути он не нашел ни одного знака, который указывал бы на дорогу. И тогда некоторое время его дорогой стали маршруты поездов и кораблей, которые несли его на запад до Базарджика, а потом в Силистру.

Пока он находился в пути, воспоминания его не беспокоили. Когда он, наконец, осел в Силистре, он устроился учеником к некоему торговцу, а потом открыл собственную лавку. Затем он стал искать себе жену, и, пока он ее искал, задерживаясь у девушек, ждавших в порту моряков, ожил покров бедуина, сброшенный когда-то к ногам словно шарф, зашипел как змея и пустился по следам Саака. Так однажды вечером он увидел образ Юсуфа среди отраженных в окне огней газовой лампы. Он с ужасом смотрел, как тот танцует под звуки барабанов и зурн, как разрывает на себе белые одежды человека пустыни, как держит в руках свой член и треплет его, отплясывая, с диким взглядом, как испускает, тяжело дыша, между пальцев не семя, но кровь. Саак не смог иначе прогнать видение, которое брызгало в него своим сквернорождающим семенем, как, схватив инструмент, и запустив им в окно. Юсуф захохотал, его образ разбился, размножился в тысячах других образах, и проник в комнату. Придя в себя, он посмотрел на свое дикое лицо, на беспорядочно разбросанную одежду, на еще не расслабленный и изуродованный член, который он держал в руке. Он понял, что Юсуф вошел в него, и что, разбивая окна и занавешивая зеркала, он не сможет побороть этот просвечивающийся образ.

Саак и Юсуф ненавидели друг друга, но знали, что должны будут жить вместе. Юсуф испытывал в десять раз более тяжелые мучения, на которые его обрек Саак, будучи вынужденным терпеть поклонение другому спасителю и абсолютно пристойные обычаи этой веры. Но он мстил этому чуждому для него роду единственным доступным ему способом: членом, который носил знак его рождения, отравляя его семя. Связанный с этим семенем, которое навсегда осталось бесплодным, и которое с каждым годом редело и сокращалось, Юсуф уменьшался и сам. Во времена моего детства Саак Шейтанян был старым человеком. Поэтому я так и не узнал Юсуфа.

Расколотый надвое, свыкшийся с тем, что каждая его половина выслеживает и ненавидит другую, ждет, когда другая уснет, чтобы ударить, но, неизбежным образом, засыпая вместе с ней, и по-настоящему разделяясь только во сне, поскольку обе половины не могли видеть сны одновременно, Саак, по мере того, как другая половина уменьшалась вместе со смирением, которым жили он и его жена Арменуи, поняв, что не могут иметь детей, усвоив привычку ненавидеть и, не больше не в силах удерживать всю ненависть среди расщелин своей раздробленной души, начал

ненавидеть остальных. Прежде всего, тех, кто походил на Юсуфа. Но, поскольку таковых вокруг него было мало, а его неизрасходованная ненависть скрежетала, словно клыки тварей, предназначенные для того, чтобы кромсать, иначе они растут до тех пор, пока не пробивают собственный череп, Саак излил свою ненависть на большевиков. Нежданная возможность появилась после войны, когда, в отличие от периода, когда единственным коммунистом Фокшан был пьянчуга-зеленщик, политическая деятельность которого состояла лишь в том, что каждое 10 мая он во весь голос, с заплетающимся языком, поносил династию и короля, до тех пор, пока власти не набрались ума-разума, и не стали арестовывать его рано утром, не проспавшегося еще после ночной попойки, итак, когда после войны город без лишних слов наполнился коммунистами. Саак обычно называл их скопищем, коммунистами с большой дороги. Коммунисты отплатили ему за проявленные к ним чувства с обычной для них щедростью, то есть, ограбили его магазин, а потом, когда уже нечего было грабить, и вовсе его конфисковали. Саак каждый раз радовался, «Берите!», кричал он, размахивая руками и подпрыгивая на одной ноге, «Грабьте!», бросал им вслед коробки с какао Ван Гуттена, «Вы забыли забрать и это!» или кульки с кофейными зернами, которые рассыпались по тротуару, словно жуки.

Ему пришла идея установить радиоприемник Телефункен в склепе Сеферьяна, и в одиночестве ходил по ночам слушать на кладбище Радио Свободная Европа. Летом 1958 года он жадным взглядом следил за батальонами Красной Армии, которые скрывались, уходя по дороге к Текучу, а потом неподвижно сидел целыми часами, смотря по телевизору размером с тарелку тети Марии, жившей напротив нашего дома, прямое включение с похорон Георге Георгиу-Дежа, не упуская ни одной детали, пожирая семечки, распивая пиво, болея, как на стадионе. «Русские его облучили, говорил он, на этот раз без нотки упрека в их адрес. Заразили его желтухой!»

И тот же Саак Шейтанян был первым, кто соблазнился очарованием карт. Вырванные из мест своего детства, старики-армяне бежали, мигрировали, пересекали пустыни, континенты, моря и океаны, но по-настоящему они никогда не путешествовали. Хождение по миру было частью их печали, но не любопытства или радостей. Поэтому они были путешественниками бумажных широт, а также скорпионами книг.

Картографированные листы были просветом в реальном мире, открывали перед ними новое измерение. На этих картах войны заканчивались всегда иначе, чем в реальности, горные фидаи разбивали целые армии, пленным удавалось бежать из лагерей депортированных, а воинам из окружения. Американцы высаживались на

Балканах, английские парашютисты застилали небо, русские отступали вглубь Сибири. И, конечно же, Армения простиралась от Кавказа до Тира и Сидона, от Анатолии до озера Урмия, как во времена Тиграна Великого, правившего в последний век до рождения Христова. Мир был наложением друг на друга карт, усеянных стрелками, которые обозначали высадки, освобождения, изгнания, возвращения территорий, порыв и триумф. Из всех карт наименее значимой, а потому меньше всего принимаемой во внимание, была та, что находилась на самом низу, разостланная прямо на траве, то есть сама реальность.

И именно поэтому на его картах действовали другие трактаты, а войны заканчивались по-другому. Севрский Мирный Договор оставался в силе. Встреча в Ялте не состоялась, и нарочно затупленное острие на карандаше Сталина не разделило Европу. Саак Шейтанян и остальные армяне моего детства были, скорее, людьми карт, а не земли. Иногда они были настолько ко всему безучастны и устремляли свой взгляд так далеко, что, казалось, сворачивались вместе с картами и исчезали из этого мира.

В *Книге шепотов* у каждого запаха, каждого цвета, каждого проблеска безумия есть свой маг. Проводником по разным землям, магом карт был Микаэл Норадунгян. Остальные стояли вокруг него, следя широкими глазами за тем, как под его руками выравниваются континенты. Мой дедушка сидел с мудрым видом и молчал, не доказывая, словно карты, ничего иного, как то, что за беспорядочной вереницей времен все-таки есть определенный смысл. Антон Мерзян забывал спрашивать и, перед лицом карт, где места хватало всем, больше не ссорился с Крикором Минасяном. Штефэнукэ Ибрэилян, Мэгырдич Чеслов, Акоп Асланян, Вреж Папазян, Ованес Крикорян и все остальные робко подходили, позволяя проводить себя к этому новому Вифлеему, где спасение являлось в форме карт. Саак Шейтанян смотрел, пораженный этим дивом. Это были единственные мгновения, когда, с ожившим нутром, он мирился с Юсуфом.